

ГАБИТ МУСРЕПОВ

Създадени  
из Казахстан

©

## Annotation

Габит Мусрепов — виднейший казахский писатель. Им написано много рассказов, повестей, романов, а также драматургических произведений, ярко отображающих социалистические преобразования в Казахстане.

В повести «Солдат из Казахстана» писатель рассказывает о судьбе казахского пастушка, ставшего бесстрашным солдатом в дни Великой Отечественной войны, о героических подвигах, дружбе и спаянности советских людей на фронте и в тылу.

Повесть впервые издана на русском языке в 1949 году, после этого она переводилась на многие языки народов СССР и стран народной демократии.

---

- [Габит Мусрепов](#)

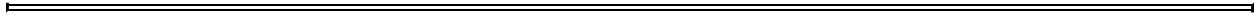
- 

- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)

- 

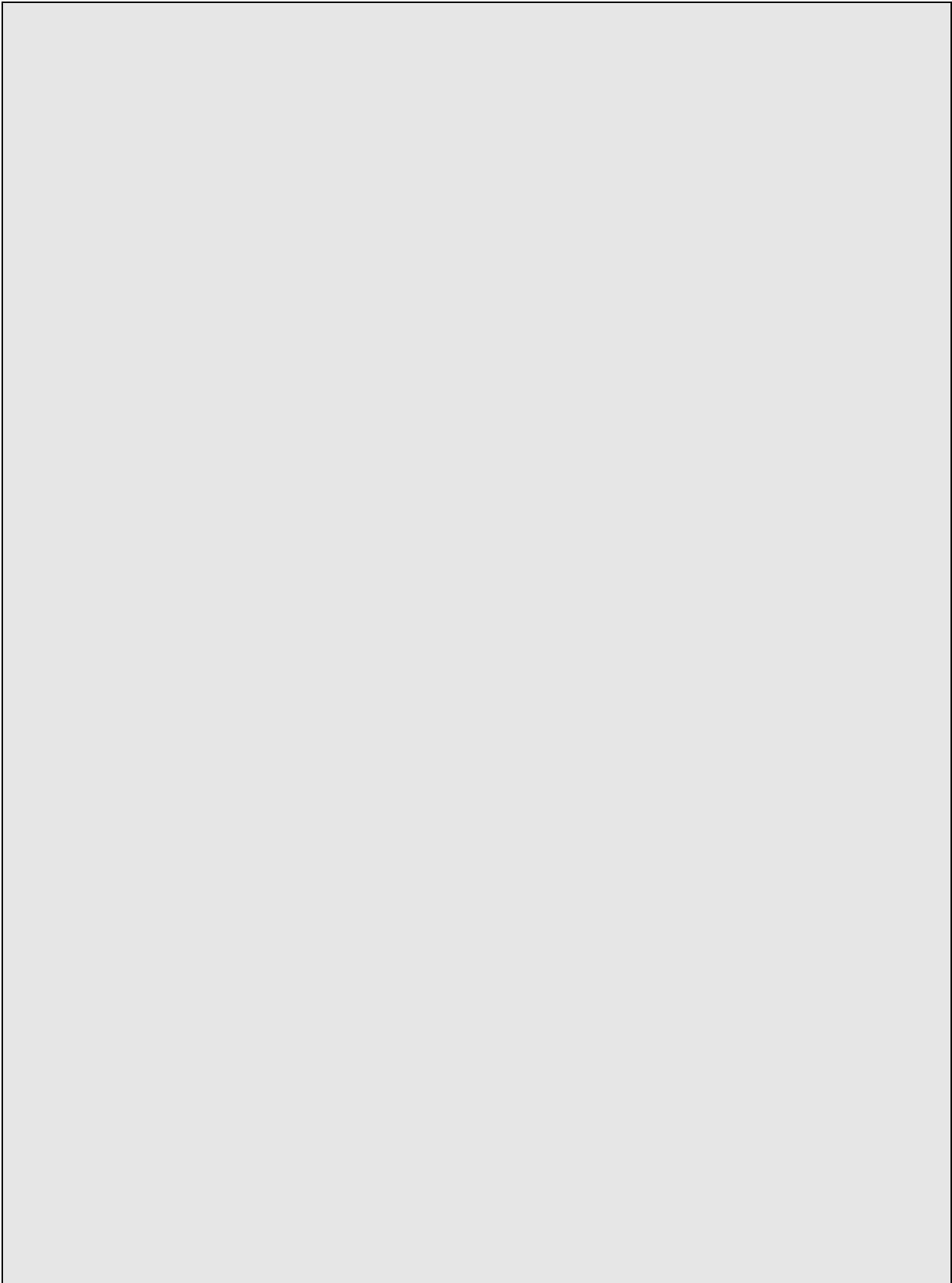
- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)

- [XII](#)
- - [I](#)
  - [II](#)
  - [III](#)
  - [IV](#)
  - [V](#)
  - [VI](#)
  - [VII](#)
  - [VIII](#)
  - [IX](#)
  - [X](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)



**Габит Мусрепов**  
**СОЛДАТ ИЗ КАЗАХСТАНА**  
**Повесть**

*— Вы ничего не утаите, а я ничего не прибавлю.  
Идет! Я ничего не утаю, а вы уж не прибавляйте.  
Мы договорились на этом.*



ГАБИТ МУСРЕПОВ

СОЛДАТ  
ИЗ  
КАЗАХСТАНА

П О В Е С Т Ъ

А В Т О Р И З О В А Н Н Ы Й  
П Е Р Е В О Д С К А З А Х С К О Г О  
С Т Е П А Н А З Л О Б И Н А



Советский писатель  
Москва 1961



## Часть первая

**Я** бегу и бегу. Степной ковыль то мягко хлещет меня по босым ногам своими пушистыми хвостами, то колет иголками.

Жара... Такая жара, что даже сама твоя тень старается спрятаться под тебя от солнца. Вокруг все так тихо и неподвижно, как только может быть в знойном полуденном царстве кузнечиков и кобылок, повсеместно и неизменно поющих свою скрипучую песню.

Я бегу, боязливо озираясь. Бегу потому, что решил удрать в город. А озираюсь потому, что страшусь погони и кары. Большое стадо коров, которое было доверено мне и которое я покинул на берегу реки, быстро начало разбредаться по золотистому полю некошенных хлебов.

Мне ровно десять лет. Я уже сознательный гражданин и даже активист; меня целых три раза допускали на собрание в красный уголок, очевидно полагая, что и я помогу разобраться в сложном вопросе — что же такое колхоз и как его организовать по-настоящему? Не помню, что я сумел понять. Помню только, что каждый раз после собрания я почему-то просыпался в углу за огромной печкой, где утром мой черный, розовоносый пес Алтай будил меня грустным повизгиваньем, словно дружески укоряя за то, что я засыпаю в общественном месте.

Вот этот-то самый «активист» и удирал теперь в Гурьев, боязливо оглядываясь назад. В ушах отчетливо звучали внушительные слова Кара-Мурта, который торжественно предупреждал «активиста», доверяя ему стадо:

— За пропажу теленка — на сорок ночей в сарай! Понимаешь?

Усы его выглядели прямо-таки грозно. Именно за эти усы его звали прежде Кара-Мурт<sup>[1]</sup>, а с этой весны, когда его начали звать «председателем», усы стали выглядеть еще более грозно. Мне он казался единственным властелином наших широких степей, о края которых опиралось небо.

В действительности Кара-Мурт не был председателем колхоза по той простой причине, что и колхоза-то по-настоящему еще не существовало. Да и вряд ли кто-нибудь в нашем ауле выбрал бы его в председатели, — Кара-Мурт всегда был как раз тем, о ком поется в казахской песне:

Оттого слезами залит наш печальный край,



Что в любом степном ауле есть свой Адракбай...

Это было в те далекие годы, когда в казахской степи только начиналась коллективизация и когда всякие Адракбаи, спасая свои стада и табуны, пытались повернуть в свою пользу каждое начинание молодой советской власти. И вот однажды вечером, когда люди вылезли на крыши низких глиняных домов, чтобы отдышаться после трудов и весенней духоты, этот наш Адракбай прискакал откуда-то на сытом своем скакуне, осадил его у домов, разбрызгав грязь, и, размахивая плеткой, закричал на весь аул:

— Съездил! Слава богу, договорился! Аула Кайракты нет больше на свете, есть колхоз «Кайракты», а я ваш председатель!

По дальнейшим объяснениям Кара-Мурта выходило так, что теперь весь аул — и люди, и все добро — будет находиться в полном его распоряжении. И хотя с этого дня пошли бесконечные споры о том, что такое колхоз и как его организовать, женщины нашего аула, в том числе и моя мать, стали называть Кара-Мурта «председателем», а аул — «колхозом». Дети обычно повторяют слова матери, а те, у кого нет отца, — и подавно. Поэтому для меня Кара-Мурт стал таинственным «председателем», который может сделать все, что захочет, и в моих глазах он стал еще дороднее и выше ростом, а все остальные сошли на нет перед его грозным величием.

Теперь мне казалось, что его пронизательный взгляд давно уже заметил мое постыдное бегство и что он мчится за мной в погоню на своем сером в яблоках орловце.

Я отчетливо представлял себе его распаленное гневом лицо. Редкие щетинистые усы его при этом обычно растопыривались, напоминая ноги раздраженного бурого тарантула, бесцветные глаза впивались в тебя ледяным взглядом и словно проглатывали живьем. Из-за ряда коричневых зубов, перемешанных с золотыми, вылетали тогда нелестные слова, относившиеся к твоему «низкопородному» рождению. Воспоминания об этом не предвещали мне никакого добра.

Еще раньше, в минуты праздных размышлений, я не раз пытался представить себе, что означает эта угроза: «На сорок ночей в сарай», и мысль неизменно переносила меня в кирпичный сарай самого Кара-Мурта, полный муки, баранины и всякого добра. Случалось, в момент слабости я почти желал попасть в этот сарай изобилия. Временами мне даже казалось, что в сарае председателя было бы уютнее и спокойнее, чем дома, в особенности если бы в этот сарай засадили меня не одного, а с подружкой.

Не без некоторой стыдливости я должен признаться, что в те дни я любил семилетнюю пухленькую Акботу<sup>[2]</sup>. Она отвечала мне полной взаимностью: то ущипнет за щеку, то обоими кулачками толкнет в грудь, то покажет язык и тотчас скроется в юрту. Она улыбалась сердито, сердилась с улыбкой, и мне всерьез казалось, что в ней есть что-то от козленка. Я любил ее всей душой и торопился скорее достичь двадцатилетнего возраста, чтобы посвататься к ней. Для этого случая были намечены мной и сваты. Например, заведующий красным уголком, который был человеком весьма опытным в этих делах и поддерживал всякую аульную лирику, или завмаг райпотреба. Этот на свадьбах умел произносить самые пылкие речи: старик берет в жены молодую — он найдет в этом извечную тягу человечества к юной весне; женится молодой жигит на женщине в годах — он повернет все наоборот и начнет говорить о стремлении юности поскорее познать мудрость зрелости. Свадьба двух молодых людей рождала в его воображении сказки Шехерезады и вереницу рассказов о собственной молодости, словно он хранил юность в течение долгих веков и по меньшей мере раз семьдесят был влюблен. Все знали его рассказы, привыкли к ним и прощали их, как люди прощают друг другу маленькие слабости.

Словом, сваты у меня были твердо намечены, и я питал невольное уважение не только к ним самим, но и к их коровам, которых мне приходилось пасти. Самое главное теперь заключалось в том, чтобы поскорее добраться до необходимого возраста. Не раз я мечтал, что как-нибудь утром проснусь сразу двадцатилетним жигитом. Но иногда фантазии подобного рода совершали головокружительные повороты: а вдруг Акбота раньше меня достигнет своего двадцатилетия и выйдет замуж за кого-нибудь из «активистов»? Девочке это проще. Правда, я старше ее на три года и даже, как старший, дважды в жизни поколотил ее. Потом мы с ней вместе ревели. Но она, будущая моя жена, всегда казалась мне хитрее меня.

В те времена мы еще не знали закона, по которому восемнадцать лет являются гражданским совершеннолетием и юноша включается в списки молодых избирателей — становится жигитом. Неписанный казахский закон возглашал: «Ты жигит, когда исполнится двадцать лет с той поры, как ты издал свой первый крик на земле...» И вот, чтобы добраться до этого рубежа ранее Акботы, я пустился бегом в странствия по просторам жизни.

Нет, я, конечно, шучу. Причина тут крылась в другом.

Я почти не помню подробностей своего детства. Оно пролетело, как брошенный мяч, стукнулось о стену, отскочило, подпрыгнуло на месте и замерло. И вот мне уже десять лет. Я стою перед стадом коров,

расползающихся по берегу реки, как гусеницы по дереву. На песке лежит моя собственная утренняя тень, длинная, удивительно отчетливая, и, как я сам, удивленно глядит на первое мое столкновение с жизнью. На ней тот же вислоухий малахай, тот же отцовский чапан, что и на мне, и в руках моя пастушья палка, полученная от старшего брата, который ушел на строительство в Гурьев. Рассмотрев свою тень, я показался себе в отцовском чапане вполне солидным человеком и с гордостью зашагал к реке, опираясь на длинную палку. Но Кара-Мурт подъехал ко мне и ясно высказал мысль: «На сорок ночей в сарай». Это вдруг подкосило всю мою гордость, и я заплакал, а тень моя, словно передразнивая, тоже стала тереть глаза.

До этого дня все шло хорошо. Я был достойной сменой старшему брату. Все мои коровы к вечеру неизменно оказывались на своих местах. Я никогда не сбивался со счета. Но сегодня, считая и так и этак, я не мог досчитаться одной молоденькой телки. Хуже всего было то, что пропавшая телка принадлежала самому Кара-Мурту (как, впрочем, и добрая половина нашего «колхозного» стада). Вор ли, волк ли был повинен в этой пропаже — так или иначе, телки не хватало. Я великий мастер считать и не мог обсчитаться. Может быть, это произошло, когда я улетел в какой-нибудь дальний край на пылком скакуне мечтаний. Проклятая телка сгинула, будто ее и не было, опасность немедленного заключения в сарай нависла над моей головой, и я пустился в бегство. Может быть, я бежал от страшной угрозы Кара-Мурта, а может быть, на моих ногах бежала к городской новизне застоявшаяся веками аульная жизнь, однообразная, как спящая степь, где синие волны миража рождают моря, до которых вовек не добраться. Кто знает? Может быть.

Так или иначе, я пустился бежать вдоль реки Урал, но с вершины ближнего холма оглянулся назад. Брошенное мной стадо плавало, как в море, в высоких хлебах. Надо было вернуться и выгнать их и уже потом со спокойной душой снова пуститься в путь. Я так и сделал.

Пока я очищал свою совесть, изгоняя коров из хлебов, солнце уже перешло зенит и косо взглянуло на мою маленькую фигурку. Я скинул прилипший к телу чапан, подвернул повыше отцовское кавалерийское галифе и дал ходу. Сердце мое колотилось о ребра, и я испытывал восторг перед собственной решительностью, толкнувшей меня к столь смелому дерзанию, как побег из аула в город... Правда, к этому примешивалось также и чувство страха перед грядущей неизвестностью.

Солнце палило меня, а над головой легко покачивающимся столбом летела туча комаров.

— Во-от он, во-от он! Он тут! Тут беглец! — кричали комары, подавая весть обо мне «председателю».

Впереди мне уже мерещился ровный гул могучего дыхания синего Каспия. Торопясь в его объятия, река Урал выпрямляла свой путь, но, ударяясь о волнистые холмы, отступала снова в долину.

Под вечер, когда пылающее солнце лениво спускалось за море, обжигая его серебристую зыбь, вся моя кожа словно одеревенела от комариных укусов и связывала движения. Над морем возник пугающий свинцовый сумрак, похожий на громадное темное чудище. Под его непомерной тяжестью море опускалось все ниже и ниже. Сквозь мрак кое-где проглядывали одинокие звезды, напоминая о волчьих глазах, светящихся в темноте. Я, правда, никогда их еще не видел, но умел ярко вообразить. Как только эта коварная мысль о волках и об их колючих глазах коснулась меня, они тотчас же стали чудиться мне почти за каждым кустом.

Метнулась испуганная сова. Синевато-розовый отблеск ее крыльев почему-то напомнил мне черта. По авторитетному свидетельству аульных старух, наша степь кишела чертями, которые расплодились по преимуществу с той поры, как не стало муллы Огапа. Теперь они каждую ночь хороводят возле его могилы, торжествуя свою победу над ним. Я не знал точно, где находится эта могила; знал только, что она где-то здесь, возле самого города, и потому каждый миг я рисковал на нее наткнуться. А ночь все сгущалась. Попятившись от какого-то чудища, может быть от куста, я с высокого берега плюхнулся в реку. Могучее течение завертело меня и помчалو, как щепку. Мой малахай слетел с головы и понесся впереди меня. Я едва успел его ухватить. Меня несло прямо в Гурьев. Комары отстали, для волков и чертей я тоже стал теперь недоступен, но вода захлестывала меня. Кое-как я выбрался ближе к берегу и, промокший, побрел, шлепая по воде.

Все ближе чувствовались глубокие меланхоличные вздохи старого Каспия. В ночной тишине все явственней доносились удары прибоя и рокот отходившей волны. Большого черного чудища, которое перед вечером поднималось над морем, уже не было видно, и я с облегчением подумал, что оно все-таки утонуло.

Когда наконец у бесконечно длинного моста я вышел на берег, город спал мирным сном. Издали доносились дрожащие гудки рыболовецких судов. Возле какого-то деревянного ларька я опустился на теплую землю и тут же заснул.

## II

Разумеется, и во сне я по-прежнему продолжал бежать. Впереди меня мчался мой двойник, который дразнил меня и кричал: «Беглец, беглец!» Я гнался за этим нахальным мальчишкой, настиг его наконец, повалил, сам упал на него и проснулся.

Шумный рой синих мух взлетел с моего лица.

— Убирайся вон! И откуда взялся такой сорванец? — свирепо шипел на меня лавочник, отворяя ларек, у которого я примостился на отдых.

В городе пахло копченой рыбой. Солнце, стыдливо щурясь, гляделось в сверкающую гладь утреннего спокойного моря. Оно только поднялось над уже трепещущей маревом степью, и длинные золотые ресницы его выглядывали из-за серых деревянных домов.

Урал дышал на город мягкой прохладой.

Ларек стоял на краю пропахшего рыбой базара, и резкий запах рыбы начал лукавую, обольстительную беседу с моим желудком. Мои ноги, которым вчера досталась такая работа, превратились в какие-то палки и, казалось, скрипели при каждом движении. Я встал и произнес единственное слово, которое мне было твердо известно по-русски:

— Здрясти...

— Пошел ты... — красноречиво ответил мне по-казахски лавочник.

Тогда, несмотря на его неприветливость, я перешел на родной казахский:

— Зачем говорить «пошел»? — начал я. — Сначала дай мне воды и кусочек хлеба, потом покажи, где школа для бедных.

Глаза наши встретились. Лавочник был не казах и не русский, а какой-то неведомой мне народности. По выражению его глаз, однако, я понял, что до него дошел жалобный смысл моих слов.

— Вон вода! — указал он мне волосатой рукой на реку.

Я смутился. Действительно, быть у реки и просить напиться — смешно! Видимо, я улыбнулся от застенчивости или от неодолимого стремления что-нибудь все-таки выпросить у него. Я не знаю, насколько привлекательней стала моя опухшая и грязная физиономия от этой улыбки, но лавочник сморщил нос и звучно, с презрением сплюнул.

— Создаст же великий бог такую рожу! — сказал он по-казахски, несколько искажая слова.

Он с огорчением покачал головой и сокрушенно причмокнул.

Собственная его физиономия тоже вряд ли могла быть названа привлекательной. Длинный, синеватый, в каких-то пятнышках нос, широкий с вывороченными губами рот и иссиня-черный раздвоенный подбородок — все это напрашивалось на всякого рода нелестные сравнения, которые в детстве легко приходят на ум. Я был готов достойно ответить ему, но он, сделав свое заключение о моей физиономии, отвернулся к прилавку и вытащил большую стеклянную банку с красной икрой. Он еще не начал торговлю и потому был не в духе.

— Ну пошел! — повторил он в сердцах.

— «Говори с человеком тепло, и ты угодишь аллаху больше, чем мулла, проповедующий холодно», — ответил я казахской пословицей.

Пословица явно ему понравилась.

— А ты, видать, новичок, что не знаешь обычаев, — сказал он достаточно ласково для своего мрачного вида. — Кто же станет тебе подавать, не начав торговли? Карманы-то есть у тебя? — внезапно спросил он.

— Есть карман.

— Ну, засунь туда руку... Не левую, правую!

Я покорно засунул руку в карман своего галифе, не понимая, чего он хочет.

— Деньги, деньги давай, ну живей! — скомандовал он.

— Денег нету, — в грустном недоумении сказал я, вытянув перед ним пустую ладонь.

— Вот балбес-то! А ты понарошку — как будто платишь! Давай сто рублей!

Он сжал мои пальцы в кулак, потом разжал их и, взяв воображаемые «сто рублей», привычным движением волосатых пальцев ловко пересчитал мне «сдачу».

— Этак ты, клоп, совсем пропадешь! — дружески заключил он, подавая мне кусок хлеба, копченую воблу и немного икры на конце широкого ножа.

По узким ухабистым улочкам уже ползла разношерстная базарная толпа. Торговки, отвоевывая друг у друга каждый вершок, с кудахтаньем занимали на длинных прилавках места, раскладывали свои товары. Мой торговец вышел из своего ларька и горделиво, по-петушиному, озирался.

Я побрел по базару и, наученный торговцем, не раз с надеждой сунул правую руку в карман, но никаких ста рублей там так и не было. Уже удаляясь от базара к реке, я услышал за собой ласковый оклик:

— Эй, сыночек! Сиротка мой бедненький! Эй!

Оглянувшись, я увидел в крайнем ряду старушку с деревянным ведром. Когда я приблизился, она скинула мешок с ведра и налила в деревянную чашку айрану.

— Пей, милый, — сказала она, дрожащей костлявой рукой протянув мне чашку.

Она сидела, поджав под себя правую ногу, а левое колено поставив торчком, точь-в-точь как сидит моя мать, такая же жалостливая, как и она.

— Ты вместе с Борашем бродяжничаешь? — спросила старуха.

— Вместе, бабуся, — сказал я, всхлипнув, и заревел, уже не в силах сдержаться от жалости к самому себе.

— Непутевые вы, бедняжки! — упрекнула старуха с теплым сочувствием. — Мачеха — мачеха, конечно, и есть. Мужу баба в доме как будто своя, а детям всегда ведь чужая. Разве Борашик ушел бы из дому, если бы мать была у него родная!

Старуха взгрустнула вместе со мной и вытерла красные веки ладонью.

— Как у него нога-то, пошла на поправку? — спросила она.

— Совсем уже поправилась, — бойко ответил я, не имея никакого понятия о Бораше и о его ногах. Мне просто хотелось сказать старухе что-нибудь приятное, и я рассказал ей целую повесть о выздоровлении мальчика.

— Приходите вместе. Скажи ему, я больше не сержусь на него, — заключила старуха, погладив меня по голове.

— Хорошо, бабуся, — сквозь слезы выдавил я и, мягко отстранив гладившую меня руку, так согревавшую сердце, пустился бежать от этого доброго существа.

Прикрепленное к двери голубого киоска длинное зеркало поразило меня жутким видом какого-то маленького, невообразимо грязного оборванца с опухшей физиономией. До этого дня я не раз любовался своим отражением в воде. А тут передо мной невозмутимо стоял какой-то незнакомый парнишка, в котором я лишь с трудом узнавал кое-какие черты своего лица. Неужели я мог настолько перемениться за одну ночь?

За спиной что-то резко щелкнуло, как длинный пастушеский кнут, и на голову мне посыпались остриженные черные и рыжие волосы. Обернувшись, я увидел толстого парикмахера с приглаженной на косой пробор прической и отвисшим животом, хохотавшего над тем, что он вытряхнул на меня простынку, которой завешивают посетителя. Я по-уйгурски ткнул его головой в тугий живот и, отскочив, помчался.

Я побежал к реке. Все тело горело и невыносимо чесалось от комариных укусов, требуя обработки всеми десятью ногтями. Бережно

сложив свою одежду под крутояром и недоверчиво обзрев окрестности, я вошел в воду.

— Это ты там лежал под ларьком, как покойник? — услышал я голос.

Я оглянулся. Двое парнишек вразвалку спускались к реке. Один был высокий, стройный подросток, до пояса голый, другой — моих лет и хромой.

— Я пока еще не покойник, — откликнулся я и выжидательно поглядел на них, готовясь, как полагается, к драке. Одиночество делает человека осторожным и решительным. Я не очень-то их испугался. Выхватив из воды какой-то твердый предмет, оказавшийся костью верблюда, я ждал нападения.

— Ого! Вот так малый! Уже точно, что наш! — мирно отозвался старший из них и, ловко приплясывая, начал спускать с себя подобие коротеньких штанов, а вслед за тем с трогательной нежностью принялся раздевать младшего своего товарища. Затем ловким ударом ноги он скинул свои одежды с обрыва, поразив меня великолепной небрежностью, с которой он относился к своему достоянию.



### III

Взяв на руки хромого парнишку, старший спустился к реке. Я подумал, что это братья, и вспомнил своего старшего брата: он тоже был где-то здесь, в Гурьеве. Как его здесь найти?..

Подросток, бережно опустив в воду младшего, обратился ко мне:

— Что это, волки тебя терзали?

— Комары злее волка! — ответил я.

Все тело мое в расчесах. С завистью глядя на гладкую темно-коричневую кожу собеседника, я рассказал свою историю.

— Зудит? — спросил младший, сочувственно коснувшись моего плеча бледными тоненькими пальчиками.

— Ой зудит! — подтвердил я.

— Давай-ка, Борашик, побороним! — И старший принялся обрабатывать меня всеми десятью ногтями.

— Как тебя звать? — спросил он.

— Каиргалий, — бойко ответил я. — А тебя?

— Меня Шегеном, а это Боращ, Боря. Мое имя никак не придумаешь изменить, чтобы было ласково. Зови меня просто — Шеген-ага: я ведь постарше обоих вас буду.

Шеген стал вертеть на все лады мое имя, подыскивая ласковую форму: Каиргалий, Кайруш, Каир...

— Нет! — убежденно сказал он. — Из этого ничего не выйдет. Мулла испортил твое имя, а такому парню, как ты, нужно хорошее имя.

Он приставил ладони к своим ушам, как это делают муллы при наречении новорожденных, и торжественно произнес:

— Отныне имя твое Костя. Как Костя пойдешь по пути жизни, как Костя будешь отвечать перед аллахом и его пророком!

— А мать что скажет? Костя ведь русское имя...

— А где твоя мать?

— В ауле, в Кайракты.

— Ты что же, собрался домой возвращаться, к мамке? — спросил Шеген, вдруг прекратив свои операции на моей спине.

— Не-ет! — не очень уверенно возразил я. Мне не хотелось его огорчать.

Шеген с новым усердием вернулся к «боронованию».

С этой минуты я стал Костей.

Бораш был бледным, нежным, как девочка. Его добрые глаза, иссиня-черные, как у новорожденного теленка, удивленно глядели на все новое. Он легко впадал в восторг и в обиду. Глядя на него, легко было понять, как с ним разделялась мачеха. Он был не способен к тяжелому труду. В выражении его лица был оттенок какой-то сердечной печали, который не исчезал даже в улыбке. Я передал ему, что сказала старушка, торговка айраном. Бораш улыбнулся, но искра радости, на мгновение просиявшая в его глубоких глазах, тут же угасла.

— Ишь какой ты избалованный! Хватит! Хватит с тебя, иди! — воскликнул Шеген и шлепнул меня по спине.

Шеген поднял Борю и стал карабкаться на берег. Я тоже сзади вцепился в него. Он молча вытащил нас обоих, Бораша осторожно поставил на песок, а меня со смехом швырнул так, что я отлетел на несколько шагов.

С утра Урал хмурился, но теперь он ласково подставил солнцу открытую грудь. Возле моста плескались бесчисленные ребятишки рабочего поселка и четвероногие их друзья — собачонки. Детский галдеж над рекой сливался с криками чаек.

Шеген был худощав, бронзовое тело его упруго и гибко. Громко смеясь, он открывал ряд белых зубов. На высоком лбу не отражалось и тени недовольства жизнью. Видимо, чувство независимости и ощущение свободы были главной радостью его жизни. С завистью оглядев его, я решил непременно стать точно таким же, как он.

Шеген внимательно осмотрел мои израненные в бегстве ноги. При этом он рассуждал, как философ:

— Во-первых и прежде всего, нам нужна голова, — торжественно изрекал он. — Без нее жизнь темна, как могила муллы Огапа или как страница корана. Во-вторых, нужны ноги. Ноги нужны для того, чтобы кого-нибудь догонять или от кого-нибудь удирать, смотря по тому, что полезней. В-третьих, всю твою исцарапанную шкуру надо содрать и покрыть тебя новой.

И Шеген объявил, что отправляется за нужными мне лекарствами. Бораш с восхищением смотрел на удалявшегося Шегена.

— Он тебя вылечит в два дня! — с непоколебимой уверенностью воскликнул он.

— А что у тебя с ногой? — спросил я, ощупав его больное колено.

— Мачеха столкнула меня с крыши, и я свалился на плуг. Шеген меня непременно бы вылечил, да у нас во дворце холодно, вот и разболелась опять.

— А Шеген почему удрал из дому? — спросил я.

— Он не из дому, а от муллы. Три недели он не умел произносить, как надо, арабское Алеф-ки-кусинь-ань... Ну, три недели его и пороли, пока не сбежал... Уж год живет здесь, а я с ним — месяц...

Вдвоем с Шегеном они меня красили йодом и сверху обмазывали какими-то разноцветными мазями. Мне нравилась такая забота, я блаженствовал, окруженный их дружеским вниманием.

Мы пошли на базар.

— Я — цирк, а Боря у нас — настоящая опера. Слышал бы ты, как он поет «Зауреш» или «Айнамкоз»!

— Я тоже умею петь «Зауреш»! — сказал я.

— Ну нет! Как поет наш Бораш, так никто не умеет, — прервал мое хвастовство Шеген.

Ему самому минуло уже пятнадцать лет. Он был закален и гибок. Он мог пройтись колесом через весь базар, легко превращаться в слепого, в глухого. Улыбка его чаровала каждого, в ком не зачерствело сердце. Он знал много рассказов, вызывающих слезы и смех.

— Руки не протягивать! — предупредил он меня, когда мы пришли на базар.

Базарный народ сам щедро платил им за их искусство — за пение Бори и за ловкие штуки Шегена. Им перепали и пирожки, и шанежки, и рыбешка.

— Опера ты моя! — воскликнул Шеген, обняв Борю одной рукой, а меня другой. Но я так и не понял, что такое «опера».

С базара они привели меня в свой «дворец». Это была просторная пещерка в обрывистом берегу Урала, образовавшаяся от выемки глины на постройке. Пол «дворца» был устлан свежим камышом. Здесь было довольно просторно, ровный свет проникал из входа. В особом гнезде, вырытом в стенке, стояли в ряд пятнадцать книг. Я сосчитал их с первого взгляда. Считать — это привычка пастуха, без которой он может остаться в большом убытке.

— Умеешь читать? — спросил Шеген, поймав на книгах мой взгляд.

— Нет. Умею считать.

— Это плохо.

Обида загорелась во мне. Я хотел спросить, не думает ли он, что неграмотный грамотным не товарищ, но удержался.

Эти первые городские дни протекали для меня в сплошных столкновениях с чужими привычками и чуждыми мне понятиями. Здесь нельзя было ступить ни шагу, чтобы не споткнуться обо что-нибудь

«городское». Мое ревнивое стремление ни в чем не отстать от моих друзей то и дело ставило меня в нелепое положение. Я злился на себя и завидовал товарищам. Шеген это сразу заметил и твердо сказал:

— Три дня сроку, чтобы ты научился радоваться и злиться вместе с нами, а не отдельно сам по себе!

Я обещал ему научиться. Шеген был мудрец, прошедший сквозь многие испытания жизни.

Боря поставил на огонь черный закоптелый чайник и начал петь. В его устремленных за реку грустных глазах отражалась тоска. Он пел о своей матери. Он не помнил ее, но сердце сироты подсказывало, что у него когда-то была родная мать. Этой песней он не исцелял свое сиротское сердце, а только глубже царапал его, чтобы на всю жизнь запечатлеть в нем имя матери. Мы с Шегеном зачарованно слушали.

Я вспомнил о своей матери, и губы мои уже расползались, чтобы издать первый звук тоскливого плача. Но Шеген уловил предательскую гримасу и погрозил мне пальцем. Я сдержался. Боря продолжал свою песню. Чайник накренился и заливал огонь.

Так начались мои новые тревожные дни. Мне было радостно, что я сразу нашел хороших друзей. Но в чем истинный смысл этой встречи, я еще не постиг. Я не понимал еще, что стал на путь испытаний, на котором крохотная радость способна искупить в детском сердце тысячи невзгод и огорчений.

## IV

Моя вольная жизнь закончилась на третий день, когда я еще не успел вполне испытать ее прелестей. Погубила нас степная казахская страсть к песне: в степи любят пение, а в Гурьев прибыл театр, который Шеген называл Саратовской оперой. Опера выступала на открытой площадке, огороженной острыми зубцами еловых горбылей. Два вечера мы слушали музыку и пение издали, с крыши школы, на расстоянии не менее ста метров. Худой и зябкий Борах сидел посередине, между мной и Шегеном. Как только открывали занавес, он совершенно забывал про нас, превращаясь в комочек и слушая всем существом пение и музыку.

Меня поражало на сцене другое: богатство цветов и красок. Впервые в жизни я видел, каким бывает по-настоящему белый цвет — прозрачный и чистый. До сих пор мне казалось, что я хорошо знаю небо, синее или голубое, но такого голубого цвета, какой я увидел на этой сцене, который переливался всеми оттенками, сохраняя воздушность и нежность, я тоже никогда еще не видел на настоящем небе. Золото и серебро, бархат и шелк, потеряв свое самое неприятное свойство — цену, превращались в сочетание красок, а самое главное — играли и пели.

На третий день никто из нас не был уже в состоянии оставаться вдали от оперы. Как только занавес распахнулся, мы возникли на острых зубцах ограды. Холодный ветер дул с моря, небо отяжелело, звезды спустились ниже. Над рекой бесшумно скользил серебряный козырек молодой луны. Он то тонул в облаках, то снова появлялся, сверкая. Воздушная, как ее блестящий наряд, синеглазая красавица пела, зачаровав нас вместе с теми, кто сидел в ограде, внизу под нами. Когда она кончила петь, люди словно взорвались: захлопали, не щадя ладоней, в восторге закричали. Вдруг сквозь весь этот шум донесся до нас осторожный свисток: три милиционера обошли нас с тыла и подкрадывались теперь, чтобы схватить за ноги.

— Прыгать! — скомандовал нам Шеген и через голову наступающих ловко скакнул далеко в сторону.

Борах тоже спрыгнул, но упал прямо перед милиционером и жалобно простонал:

— Ой, нога! Ой, нога!

Я оказался самым неповоротливым: повернувшись назад, чтобы спрыгнуть, я зацепился за острый зубец ограды штанами и, нелепо болтая

ногами, повис над землей. Не боль, не испуг, а лишь стыд за то, что я так смешно и глупо болтаюсь в воздухе, заставил меня зареветь. Я колотил в забор пятками, словно испытывал сильную боль. За оградой, где продолжалось действие оперы, раздались возмущенные возгласы публики. Боращ, через силу подойдя ко мне, подергал меня за ногу.

— Не кричи, там поют! — строго, как старший, потребовал он.

Милиционер понял мою простоватую хитрость.

— Врешь, нисколько тебе не больно, — сказал он и в полном спокойствии осмотрел, надежно ли я попался.

Так нас с Боращем поймали. Но где-то во мраке то и дело маячила юркая тень нашего старшего друга — ловкого и проворного Шегена. Двое милиционеров гонялись за ним. Он бегал вокруг площадки, давая нам понять, что не оставит нас в беде. Изворотливый и ловкий подросток неожиданными поворотами изводил своих грузных преследователей. Спокойные вначале, они стали нервнее, из темноты слышались их свистки, которые доказывали нам, что Шеген еще не попался.

Продолжительный свисток из темноты призвал нашего стража, и он стремительно кинулся на помощь своим товарищам. В тот же миг из ночного мрака орлом налетел Шеген, схватил Борю и тотчас исчез, бросив на бегу:

— Не робей, Костя, выручу!

Милиционеры, упрекая друг друга за общую неудачу, не спеша приблизились ко мне и вежливо сняли.

На грузовой машине меня привезли в детдом и сдали полной, дородной женщине.

— Имя? — спросила она.

— Костя.

— Все вы Кости, — устало сказала она и взялась за перо, чтобы меня записать.

— Оставьте его, идите! — отпустила она милиционера.

По суровому выражению милиционера, о чем-то еще предупреждавшего ее по-русски, я понял, что речь между ними идет обо мне. Милиционер повернулся потом ко мне, с усмешкой ткнул меня пальцем в кончик носа и вышел.

Ночь я провел в отдельной комнате. Крашеная зеленая кровать и чистые белые простыни сильно озадачили меня. Я встретился с ними впервые. Извольте сообразить, как обращаются с этой необычайной белизной. Женщины, которые перед этим бесцеремонно отмывали меня, подсмеиваясь над моей застенчивостью, уверяли, что я теперь буду

чистеньким, хорошим и умным. Их мягкие умелые руки по-хозяйски привели меня в порядок, и вот теперь этот «чистенький, умненький» сидел на краю кровати в напряженном размышлении о том, как поступить ему с белыми простынями.

Комнатка, в которой я ночевал, пропахла характерным детдомовским запахом всяческой дезинфекции. Непривычно ярко сияла на потолке электрическая лампочка. До сих пор огни города я видел лишь издали. Так вот что так ярко сияет ночами, подмигивая нашему аулу! С открытыми глазами я размышлял, догорит ли к утру эта лампочка. Но чем позже, тем ярче она разгоралась. Я поднялся и осмотрел ее, изучая со всех сторон. Оказалось все очень просто. Протянуть скрученные тесемки от двери до середины юрты и привязать к ним стеклянный пузырек — вот и весь городской свет! Я решил про себя, что, когда возвращусь в аул, обязательно сам устрою такое неистощимое, неугасимое освещение. Мать скрутит тесемки, а стеклянные пузырьки в изобилии валялись везде по городу.

На голых выбеленных стенах комнатки бросался в глаза единственный заметный предмет — блестящая металлическая нашлепка с кнопкой. Я потрогал ее — ничего интересного не произошло. Но завладеть такой штукой мне показалось совсем неплохо. Вытащишь из кармана, покажешь ребятам — погляди! — и спрячешь. Я взялся за этот занятный предмет уже с определенной стяжательской целью. Вдруг — хлоп! Штучка щелкнула, и свет мгновенно исчез. Я не понял, как это случилось, сначала ли раздалось щелканье, а потом исчез свет или наоборот, но закричал в испуге.

— Зачем потушил? — крикнул голос из коридора.

Затем кто-то вошел в комнату и молча включил свет.

Это был сторож.

— Дядя, куда это свет убежал? — спросил я.

Но он ничего не ответил, хмуро поглядел на меня и вышел.

За окном с гулкой тяжестью мерно вздыхало море. Волны, грохоча, ударялись словно в самые стены дома и с рокотом откатывались вспять. Ночь, обычно спокойная и безмолвная в степи, здесь, вблизи моря, оказалась многоголосой и многоглазой. Нагоняя жуть, гудели многочисленные рыбацкие суда. Лучи далеких прожекторов порой недвижно останавливались на моем окне, освещая серебристые гребни волн, огромными валами катящиеся на берег.

Первая обида на то, что меня так легко поймали и заперли в эту комнату, теперь уже остыла, и моя мысль возвратилась к началу этой уходящей ночи. Опера... Легкая, словно облачная, красавица певица... Я задал себе вопрос — есть ли у этой женщины муж или сын? Разумеется,

нет! Не может быть! Я словно ревновал ее ко всему мужскому полу, и мое воображение заботливо ограждало ее равно от мужа и от детей: ведь не может же это воздушное чудо с чарующим голосом доить коров и стирать белье или бранить пастухов! Но тут мысли мои опять и опять возвращались к аулу.

Утром, когда я, подняв кверху ноги и упершись ими в стену, учился ходить на руках, как Шеген, внезапно раздался возглас:

— Ай, молодец!

Кто — то схватил меня за ноги, перевернул и повалил на койку. Я увидел Шегена.

— Вот и мы! — сказал он.

— Ты пришел меня выручить? — спросил я, обрадованный внезапным его появлением.

— Нет, мы просто решили сами прийти в детдом. Ты попался, Бораши искалечил ногу...

— А где он?

— В соседней комнате у врача. Ему нужен присмотр, ведь скоро зима настанет...

— А ты?

— И я буду с вами.

От восторга я куснул его за колено.

В полдень мы обедали на чистом воздухе, во дворе. Мария Викторовна, дородная женщина, которая принимала меня вчера, двигалась между нами удивительно легко. Ее полнота представлялась даже какой-то уютной. В детдоме ее называли воспитательницей, но она казалась матерью всех этих восьми десятков русских, татарских и казахских мальчишек. Ее питомцы смотрели на нас, как на гостей: откровенно критически — на меня и Бораши и с почтительной, но лукавой робостью — на Шегена.

За обедом раздался какой-то шум, и сердце мое тревожно заколотилось еще прежде, чем я успел окончательно узнать голос матери. Я выронил ложку, обрызгав супом соседей. С жалобным причитанием как вихрь ворвалась во двор моя мать в белом развевающемся на голове жаулыке<sup>[3]</sup> и пестром широком платье. Она кинулась сразу к столам, жадно разыскивая меня в этом сборище одинаково стриженных и, как один, одетых, ребят.

— Апа!<sup>[4]</sup> — жалобно пискнул я, увидев, что она растерянно озирается.

Как она протянула ко мне свои руки! Как стремительно наклонилась ко



мне, покачнув стол, расплескала тарелки и подняла меня на руки! Преодолевая смущение перед ребятами, я прильнул к ее груди, и меня сразу обдало родным запахом степи и матери.

Ребята, шумно и шаловливо сидевшие за столом, вдруг примолкли и замерли.

Как счастливы были бы многие из них, если бы смогли так же прижаться к своей матери! Не все, как я, убежали из дому: большинство и не помнило его — одних осиротила гражданская война, других — голод, вечным спутник старого аула. С раннего возраста не знали они материнской ласки, и, когда видели со стороны, как мать обнимает сына, вся горечь детской утраты поднималась со дна сердец и заставляла их с жадностью наблюдать незнакомое им проявление материнской нежности.

Но для матери в эту минуту они были не одинокие сироты, а враги, сманившие ее дорогого сыночка из родного аула в город. Она обрушилась с упреками на этих «врагов», упрекая их всех и каждого в отдельности.

Бораш молча дружески мне подмигнул. Шеген отвернулся.

Выпалив залпом свое возмущение, мать начала утихать. Только тогда в разговор с ней вступила Мария Викторовна. Она заговорила приветливо, пригласила ее к столу и поставила перед нею чай. Но мать решительным жестом отставила чай и опять закипела.

— Вы, мать, не волнуйтесь. Если вы твердо решили взять сына домой, я не задержу его ни на минуту. Видите, сколько тут у меня сыновей, — ласково убеждала воспитательница, незаметно пододвигая обратно к матери чай и сладости. — Садитесь, пожалуйста, поговорим.

Но та упорно отставляла пиалу с чаем, страстно крича, что не оставит родное дитя ни на час в этом доме.

И вдруг обе разом, поняв, что спора между ними нет и что говорят они об одном и том же, приумолкли. Чай возвратился к моей матери и завершил ее полное поражение.

— Я не пойду в аул! Кара-Мурт запрет меня в сарай! — вдруг воскликнул я.

Все вокруг засмеялись, кроме Марии Викторовны.

— Тогда попроси мать оставить тебя здесь учиться... — сказала она.

От неожиданности этого предложения мать умолкла, недоуменно моргая; она не нашла сразу ответа, но ее руки, так крепко прижимавшие меня к теплой груди, вдруг ослабели. Если бы она не выпустила меня из объятий, я так бы и вернулся с ней в аул, потому что я слышал биение материнского сердца, дрожащего за судьбу своего сына. Ее громкие причитания трогали меня меньше, чем этот трепетный стук в ее груди.

Воспитательница взяла мою мать под руку и увела ее в свою комнату. На другой день мать уехала в аул на дрожках детдома.

— Эх, сынок, ты напрасно боишься. Я упростила бы Кара-Мурта. Но ты тут учись хорошенько, — сказала она, целуя меня на прощанье.

Она была рассудительна и казалась совсем спокойной за мою судьбу. По правде сказать, в глубине души это даже обидело меня.

Небо, из дня в день утрачивая свою ясность и голубизну, все ниже опускалось к земле. Над морем плотней нависали ненастные серые тучи,

чем-то похожие на детдомовское белье, развешанное по двору после большой стирки. Все тяжелее катил свинцовые волны Урал. Нехотя прощаясь с летом, люди с досадой встречали неотвратимую осень, и на их лица наплывала осенняя мгла. Осень входила в жизнь все упорней и убедительней. Там, где еще недавно весело зеленели луга, шуршали теперь желтые стебли. На оголенных побуревших холмах, подобных горбам спящего верблюда, мрачно насупясь, чернели одинокие беркуты.

Стекло форточки в большом детдомовском зале было выбито. Оттуда доносилась нудная песня осени. В аule эта песня говорит о волках, которые подкрадываются к овцам. В детдоме она напевает нам о том, что печи тоскуют без дров. Кучками собираясь на койках и тесно прижавшись друг к другу, мы ведем веселые глупые споры о том, у кого больше ума — у лысых или у бородатых. Болтаем все вместе, и каждый, не слушая остальных, хохочет над собственной выдумкой. От длиннобородых и лысых вообще разговор, как это бывает всегда у ребят, незаметно переходит на тех, кого мы знаем, — всегда как-то убедительней и вкусней обсуждаются действия ближних. Вот уже возникает вопрос: кто умней и важнее — завдомом или главбух?

Заведующий у нас был человек, к которому одинаково трудно было питать и симпатию и вражду. Обычно он тихо входил к ребятам, осведомлялся о том, кто сдвинул с места тумбочку или койку. Разумеется, никогда и никто не мог назвать имя виновника. В соответствии с невозмутимой бесцветностью заведующего, все принимало прежний невозмутимо бесцветный порядок. Не порицая за нарушение порядка, не похвалив за восстановление его, он удалялся от нас так же тихо, как появлялся. Из дня в день он был во всем неизменно однообразен. Фамилия его была Койбагаров, имя — Кудайберды. Такие имена и фамилия сами напрашиваются на перевод, в особенности в детской среде. В переводе на русский язык получилось буквально: «Бог дал баранопасов». Это было, кажется, единственной шалостью, которую ребята допустили по отношению к нему.

Бухгалтера мы видели редко, он появлялся всего два-три раза в неделю, говорил торопливо, куда-то всегда спешил и опять исчезал. Всеми было замечено его высокое мастерство в курении табака: он затягивался так глубоко, как будто совсем проглатывал дым, который исчезал с такой же быстротой, с какой исчезает дымчатый пушистый хвостик суслика, юркнувшего в нору. Затем, после паузы, бухгалтер начинал говорить, стреляя в нос собеседника клубами дыма. Особенно ловко получалось это у него, когда во дворе он доказывал нашему заву необходимость получения

денег на строительные материалы. Чтобы научиться этому высокому искусству, мы однажды раздобыли папирос, и несколько ребят упражнялись весь вечер. За курением нас застал Шеген, и нам от него влетело. Поэтому мы все были злы на бухгалтера и с нетерпением ждали случая подстроить ему какую-нибудь веселую каверзу. Но по тому, как наш заведующий молча выслушивал его подчас довольно резкие заявления, мы были склонны думать, что все же бухгалтер, должно быть, умнее своего начальника.

В этот осенний день Мария Викторовна была какой-то растерянной. Она в волнении рассказывала одной из воспитательниц о том, что заведующий — на хлебоуборке, бухгалтер — бог знает где, а в гороно ее водят за нос. Тогда я еще не понимал образного смысла этой фразы. Поэтому, с любопытством взглянув на ее покрасневший от холода нос, я спросил:

— Прямо за нос?

Мне стало жаль эту добрую женщину. Мы дружески обступили ее.

— Может быть, нарубить вам дров?

— Может, съездить за сеном? — участливо предлагали ребята.

— Нет, дети, все это пустяки...

— А что же тогда не пустяки?

Мария Викторовна огорченно сообщила нам, как печальный итог своих переговоров с начальством, что нас, старших ребят, «перебрасывают» в город Уральск. Почему это было печально, никто из нас не понял. Нам даже сделалось весело: может быть, там заведующий будет с другой фамилией.

С работы на току возвратились самые старшие во главе с Шегеном. Мария Викторовна с самого начала с большими подробностями и еще печальней все объяснила им.

— Работали мы с вами не покладая рук. Хорошо ведь работали, и вот — на тебе! Перебрасывают! — ища сочувствия, восклицала она.

Шеген внимательно, словно бы соболезнуя, слушал и вдруг неожиданно резко и весело заключил:

— Плохо, конечно, когда работают плохо, а я думаю, что еще хуже, когда люди уверены, что работают хорошо. Бывает еще и так: сами знают, что все никуда не годится, а кричат во всю глотку, что все отлично...

Мы понимали, что Шеген говорит печальную истину, но нас удивила его смелость и веселость.

— Значит, прощаться со знакомыми местами? — спросил Шеген.

— Выходит, что так. Завтра утром подадут машины, — сказала Мария

Викторовна.

Шеген позвал меня попрощаться с городом. Боря стал собираться к отъезду, а мы побрели к знакомым местам. Шел мелкий дождь вперемежку со снегом. «Дворец» наш был залит. Лужа мутно-зеленой воды выплеснулась туда из бушующего Урала. Шеген через лужу прошлепал в дальний угол пещерки, порылся и вытащил из камышей красивую черную коробочку, в которой оказался большой золотисто-коричневый жук.

— Это жук-верблюд, — убедительно объявил мне Шеген. — Я, правда, сам придумал название, но думаю, что оно подходящее. Гляди, как похож на верблюда. Может, потом ученые дадут ему другое имя, а теперь пусть так и будет — «верблюд».

Шеген подарил жука мне.

— Я берег его целых три года, — сказал он, — и ты береги. Мне заспиртовали его в аптеке.

Так Шеген расставался с последними привязанностями своего зыбучего детства, вступая на новую, твердую почву осознанной юности.

Мы равнодушно прошли мимо базара — нас туда уже не тянуло. Невдалеке от базара из каких-то покосившихся ворот вышла пестро одетая женщина с ребенком на руках, за ней шел ее муж, милиционер, в длинной черной шинели.

— Он! — толкнув меня в бок, негромко воскликнул Шеген.

— Кто он?

— Кто целый год ловил меня.

Лицо Шегена изменилось мгновенно, в его карих глазах вспыхнули лукавые мальчишеские искорки, и он превратился в прежнего, почти забытого мной озорника. Я испугался, как бы мой друг не выкинул какой-нибудь шутки. Но глаза его быстро прояснились, и он уже серьезным тоном сказал мне:

— Подойдем... я должен поблагодарить его.

Не совсем уверенный в его намерениях, я молча последовал за ним.

— Здравствуйте... — сказал Шеген, подойдя к милиционеру.

Милиционер удивился:

— Кто ты?

Шеген улыбнулся мягко и ласково, как он умел улыбаться. Затем, так же ласково ухватив милиционера за локоть, сказал:

— Помните, как вы гонялись за мной? Я ведь тогда сам искал детский дом, а вы пустились за мной, как за дичью. Раз так, я вам назло решил: «Ну уж нет, им меня не поймать!» Детдом тогда напоминал мне о мулле... пока не подрос, не поумнел... — заключил Шеген, разводя руками. — Теперь я

давно уже в детдоме, никто меня не загнал — сам пришел.

Шеген протянул человеку в черной шинели руку, как равный равному. Милиционер пожал протянутую руку.

— Так, значит, ты учишься, да? — спросил он Шегена с волнением и теплотой.

— Шеген — отличник во всем! — нетерпеливо воскликнул я, чтобы обрадовать этого доброго усача.

Он обнял обоих нас за плечи и привлек к себе.

— Ну, учитесь, учитесь, ребята, — сказал он почти с отцовской теплотой. — Ведь раньше казах не мог ничему как следует научиться. Теперь нагоняйте!

Мы расстались.

Утром подошли закрытые грузовики, — мы поехали в Уральск.

Кто из ребят не любит менять места, попадать в новый дом, в новый город! Вместе с другими и не меньше других шумел и я, стараясь по мере сил увеличить предотъездный кавардак, воцарившийся в детском доме в то утро. Мы все кричали, делая вид, что без этого плохо пойдет погрузка наших вещей и автомобили не смогут сдвинуться с места.

Когда мы наконец ввалились в машины и, шумно толкаясь, уселись, начался дождь. Он барабанил по брезенту. Спасаясь от холода, мы опустили задний полог и запели. От тряски машины голоса наши смешно дрожали, и мы забавлялись этим, когда я вдруг вспомнил, что дорога в Уральск идет мимо моего родного аула, мимо родного дома, где теперь остается мать, которая не сможет, как обещала, приходить навещать меня, и бросился в заднюю часть кузова. Меня удерживали, кричали, что я наступил кому-то на ногу, бранили, толкали, но, никому ничего не объясняя, я рвался, чтобы хоть взглядом проститься с домом, которого мне вдруг стало жалко.

Когда наконец я смог выглянуть из машины, я уже ничего не увидел, кроме пустой, голой осенней степи. По знакомому одинокому дереву я понял, что наш аул остался далеко позади. Только тогда я почувствовал боль от навеки, казалось, невозвратимой потери матери и дома. Если бы машина шла тише, я, может быть, спрыгнул бы и убежал домой. Но машина неслась по дороге. Никто не понимал меня, все беззаботно пели, а я, прислонившись к борту кузова и скрывая от всех свои слезы, бесшумно и молча плакал, пока не заснул, убаюканный однообразным мельканием осенних холмов.

## VI

Только в день отъезда Шегена в армию я вспомнил, что мне стукнуло уже пятнадцать лет, а я все еще живу под крылышком интерната и за пазухой «дяди зава». Я окончил шестой класс и считался отличным физкультурником. До начала учебного года оставалось около трех месяцев. Неужели опять все лето вертеться на турниках да гонять мячи? Довольно ребячества!

Я сразу почувствовал себя старше, и жизнь, которая кипит за стенами детдома, с силой потянула меня к себе. Все самое обыденное и простое, но не изведенное мной вдруг приобрело какую-то особую прелесть.

Окна нашего интерната были обращены к городскому саду. Я заглядывался на пестрые платья гуляющих девушек, заслушивался их звонким смехом. Они манили меня. Бежать к ним туда! Но что-то удерживало меня. Я отворачивался от окна, и тут меня подкарауливало зеркало.

Правду сказать, я немало времени тратил на то, чтобы полюбоваться собой. Темно-коричневая кожа, блестящая, как у морского льва. Упругие крепкие мышцы... Хорош! Правда, на этом широком лице хватило бы места для более крупных глаз, можно бы было, конечно, быть не таким скуластым, и нос мог бы быть более горделивым и не таким приплюснутым... Но все это мелочи. Зато темные волосы очень красиво ложатся волной. Стоп! Я поймал себя на кое-каких запретных мечтаниях. Отворачиваюсь от зеркала, а рядом окно в щебечущий, звонко хохочущий, пестрый, зовущий сад. От весны и юности не уйдешь.

Я снова гляжу в зеркало. Как я серьезен! Словно сам Шеген. Вон какое глубокомысленное выражение лица! Это ты, Шеген? Здравствуй, дружище! Я завожу серьезнейший разговор со своим зазеркальным собеседником. Сперва мне это удастся, но дальше я начинаю лукавить: мои вопросы становятся все более наступательно дерзкими, а его ответы бледнеют и делаются менее убедительны. Я готов нанести ему сокрушительный и последний удар.

«Старость и так долго живет у нас на Востоке. Зачем же оттягивать время, когда молодость вступит в свои права?» — задаю я вопрос и гордо гляжу на «Шегена», довольный собой и тем, как его озадачил. Шутка ли — «старость долго живет на Востоке»! Как свободно орудую я и пространствами и веками!

Но мой зазеркальный друг оказался тоже не прост.

«Преждевременно дав права молодости, ты сам поторопишь свою старость».

Очевидно, в том возрасте я был впечатлителен, и ответ воображаемого Шегена успокоил меня на весь вечер.

Избыток юношеской энергии давал себя чувствовать на каждом шагу. Нужно было пристроиться к какому-то делу. Я отправился в облоно.

В прохладном, только что вымытом кабинете меня принял заведующий — человек с обрюзгшим рыхлым лицом и склонностью к непомерно частым зевкам. Чисто выбритое лицо и белый чесучовый костюм подчеркивали пробивающуюся седину в его черных волосах.

— Ассалям алейкум, — приветствовал я, войдя в кабинет.

Заведующий не реагировал даже простым движением губ. Вряд ли это было педагогично. Он молча сидел, я молча стоял перед ним. Заведующий зевнул еще раз.

«Почему бы ему не сходить искупаться?» — подумал я.

— Ага<sup>[5]</sup>, — решил наконец я обратиться к нему по-казахски. — Я из интерната номер первый.

— Угу... — отозвался он, не изменив положения и не взглянув на меня.

— Хочу где-нибудь поработать во время каникул.

— Гм-м... — Углы его губ опустились.

Наступило опять молчание.

— Наш детдом, ага, — продолжал я, — два года подряд был премирован за образцовую воспитательную работу. К нам отдают учиться своих детей даже многие из жителей города.

— Ну, а сам-то ты как, из этих... из бывших...

— Из беспризорников? — подсказал я. — Я был беспризорным всего три дня...

— Отметки?

— Отличник.

— Какую же ты хочешь работу?

— Куда вы пошлете. Только чтобы без отрыва от школы.

— Гм-м, гм-м... Та-ак... Сколько лет?

— Семнадцать, — приврал я для большей солидности.

Заведующий вынул из ящика стола разграфленный лист и начал про себя перечислять: курсы сельских секретарей, наборщиков, избачей и библиотекарей... парикмахеров... милиционеров... монтеров... слесарей... Отточенный красный карандаш, перенюхав своим острым носом все



квадраты, остановился.

— Будешь учиться три часа в день и получать зарплату тринадцать рублей в месяц. Подходит?

— Ого! — невольно вырвалось у меня. — Конечно, вполне! — сдержав восторг, солидно ответил я, даже не справившись о выбранной им для меня профессии. Правду сказать, в этом выборе я полагался больше на облоно, а тринадцать рублей в месяц мне приветливо улыбались.

— Будущее где-то там еще, впереди, а пока ты не должен брезговать никакой работой; наша казахская пословица говорит: «Хоть ослу зад мыть, только бы с деньгами быть». Слыхал?

— Слыхал, — буркнул я и смутился. Пословица мне не очень понравилась.

— Хорошие парикмахеры тоже нужны, — сказал он.

Я просто-таки обалдел от неожиданности. Почему он решил, что я должен быть парикмахером, я не понял ни тогда, ни после.

— Иди, получишь путевку.

Я молча вышел. Во мне все кипело от злости. Ведь море казалось мне по колено. Я мог управлять чем угодно, мог командовать армией... и вдруг — в парикмахеры!

Весна поблекла, свет померк в глазах. Несколько дней за мной гонялись повестки. И наконец пятая все-таки привела меня в парикмахерскую Красного Креста.

Я шел туда, презирая себя.

Вот Шеген уже на своем пути. Многие из его сверстников также покинули стены детдома и учатся или работают на интересном деле. Среди тех, кто вышел из нашего дома и пишет оставшимся здесь ребятам, есть и моряки, плавающие в малодоступных северных водах, и геологоразведчики, бродящие с молотками в отрогах Тянь-Шаня, и техники, пролагающие дороги в пустынях. Есть даже изобретатель, которого наградили орденом Ленина за некую вещь, которая должна оставаться тайной для тех, кто не имеет к ней прямого отношения. Среди них есть и радист полярной зимовки, позывные которого с далекого Крайнего Севера ловят наши любители-коротковолновики. Ребята с гордостью показывают друг другу их письма, письма сыновей казахского народа, ставших знатными людьми необъятной Советской Родины.

Маленький тихий Бораш тоже нашел свою будущность. Он посещает музыкальную школу и успел уже стать любимцем публики даже за пределами школьных концертов. Не поймешь, что у него за голос — мужской или женский. Но когда он поет, все его слушают с какой-то

своеобразной томительной отрадой. При этом он сам весь отдается песне.

Казахская народная песня — широкая, страстная, трогательная и выразительная — передает все богатство человеческих чувств: печаль и бурную радость, любовь и ненависть, отчаяние и надежду. Каждый напев еще не утратил легенды о своем происхождении. «Эту песню сложил сирота, изгнанный мачехой из дому, — утверждает народ, — эту — девушка, выданная замуж за нелюбимого богача, а эту — мать, у которой сын заблудился в горах... Эта — родилась в устах пастуха, когда он в степи спасал табун от бурана, а эту песню поет старик, тоскующий об ушедших силах и удали».

Когда поет Бораш, он не просто исполняет мотив, он видит перед собой этих людей, он весь отдается песне, горюет и радуется вместе с теми, о ком поет. Как счастлив он должен быть, когда его песни заставляют людей плакать или радостно хлопать, отбивая до боли ладони.

Он уже мечтает о том, чтобы ехать в Москву учиться в консерватории и стать настоящим артистом. А я? Пока стал парикмахерским учеником.

Меня бесплатно подстригли и выдали белый халат.

— Вытряхните, пожалуйста, простыню, потом подметите, — был первый приказ, данный мне старшим мастером в характерном, слишком вежливом и слегка оскорбительном тоне.

## VII

В те времена это еще случалось: парикмахерская оказалась учреждением почти частным в начале месяца и почти государственным к его концу. Оба эти «почти» счастливо сочетались в карманах старшего мастера. Хотя у него, как и у всех остальных, на белом халате красовались два кармана, но один из них был государственный, а другой строго собственный. По какому принципу и какая часть нашего заработка попадала в тот или другой из его карманов, это знал он один. Но сколько каждый из нас, учеников, терял в форме «вычета» за свою неопытность, это знали также и мы.

Катюша — кассирша, к которой должна была поступать выручка «государственного сектора», — в первую половину месяца являлась за час до окончания работы, чтобы принять от мастера его левый карман и выписать чеки задним числом. Избалованная свободой, Катюша иногда не имела времени на то, чтобы разнообразить талоны, и выписывала чеки на одну только стрижку, по числу полученных ею рублей.

— Ты совсем уж стал парикмахером, Костя! — как-то сказал старший мастер. — Сколько сегодня побрил?

— Я сегодня не брил никого, — вызывающе буркнул я.

— Как так? Я видел.

— А вы проверьте по чекам.

— А-а... — Он криво и понимающе усмехнулся и заискивающе дружелюбно похлопал меня по плечу. — Ты догадливый малый! Ну что же, ничего. Кто их там проверяет... нынче стриг, завтра будешь всех брить.

— Значит, ножницы завтра не приносить?

— Вот задира! Тебе-то что? Ты получишь характеристику и зарплату... Пойдем, угощу тебя пивом!

Я с негодованием отверг это предложение и сказал мастеру несколько обидных, но справедливых слов.

Прошла уже под моими руками первая тысяча щек, голов, подбородков, затылков... Иные из них, случалось, бывали испорчены.

— Что это там за пучок? — недовольно и строго спросит тебя голова.

— Одну минутку! — в смущении воскликнешь ты.

Раз-раз-раз, — защелкали ножницы, и там, где только что был пучок, появляется заметное светлое поле. Теперь голова сердится уже более бурно.

— Я стриг, а вы двигали головой!

— Сваливаешь свою вину!

Я завидовал нашему второму мастеру. Впрочем, должен признаться, что на любой работе я всегда чувствовал зависть к чужому умению. Оправдание этому чувству, которое люди скрывают, я отыскал уже позже у человека, отнюдь не родственного мне по ремеслу, — у Пушкина, который сказал, что зависть — родная сестра соревнования, следовательно, хорошего рода.

Второй мастер был человеком вычурным, щеголеватым. Одевался он до нелепости «модно», на левой руке носил золотой браслет, каждый день по-новому причесывал мягкие темные волосы и собирался жениться на нашей Катюше, которая почему-то звала его «принцем крови», добавляя: «лакейской». Но завидовал я, собственно, не этим его разнообразным качествам, а тому, что, работая над головой человека, он мог без умолку говорить. Значит, он настоящий мастер!

— Ты была, Катюша, у Насти? — спросил он, намыливая клиенту лицо.

— Заходила вчера.

— Ну и что? Кто там был?

— Саша Мухин, мой принц ненаглядный.

— А что он?

— Собрался жениться.

— На ком?

— На Насте.

— На Насте? — Помазок упирается в нос клиента и делает остановку. Клиент недовольно мотает головой.

— Я шучу, шучу, не на ней.

— А на ком же?

Весь день его протекал в такой болтовне.

Он разговаривал лишь для того, чтобы показать клиентам и нам, подросткам, что он большой мастер и может работать не глядя.

— Знаешь, кем бы я мог стать? — иногда говорил он нам, когда в парикмахерской не было старшего мастера.

— А кем? Кем?

— Вот то-то! — загадочно отвечал он.

Но постепенно я тоже начал гордиться своей работой. Все-таки имеешь дело не с чем-нибудь, а с человеческой головой, с уважаемым всеми предметом. Я пытался угадывать, что содержит в себе этот предмет, определяя про себя наклонности, способности и характер клиентов. Это занятие забавляло меня и все более вызывало во мне интерес к

человеческому роду.

Но постепенно «почти частное» в нашем предприятии стало сходить на нет. Катюша сделалась более аккуратной и деловой, она даже стала учитывать работу каждого из нас и все виды работы отдельно. Второй мастер стал менее разговорчив, потому что его труд начал тоже учитываться отдельно. Странные «вычеты» прекратились, и тринадцать рублей уже твердо вошли в мой ежемесячный быт. Я даже не раз посылал деньги матери, которая, соскучившись без сыновей, переехала в Гурьев и жила вместе с моим старшим братом, работая на стройках.

Моя «практика» в парикмахерской начиналась с двух часов дня. До этого часа почти каждый день я работал теперь на полях интернатской коммуны. Коммуну организовал городской комитет комсомола, и ему не понадобилось много времени, чтобы мы, только что вступившие в комсомол, поняли, какое значение имеет этот труд. Мы работали там вдохновенно, хотя результаты работы пока еще не были так высоки, как могли бы быть. Слово «коммуна» было для меня священным и наполняло гордостью. Так вчерашний степной пастух, взлетевший на самолете, гордится своим искусством летать много больше, чем тот, кому техника была знакомой и близкой с детства. У батрацкого сына, строящего коммуну и понимающего высокий идейный смысл этого слова, гордость не знает границ. Я — сын народа, который раньше немцев, французов, американцев и англичан строит то новое общество, к которому стремится все разумное человечество.

Работа в парикмахерской не увлекала меня, она была неприятным, привычным, вынужденным трудом. На полях нашей коммуны я превращался в творца новой жизни, а мой труд — в поэму человеческой гордости.

В день Первого мая меня постигло окончательное разочарование в своей профессии. Как ни странно, это случилось как раз в торжественную минуту премирования меня за отличную работу.

— Замечательному мастеру Константину Сарталееву, — сказал наш старший мастер, — за перевыполнение в четыре месяца полугодового плана присуждена премия в пятьдесят рублей деньгами, белый летний костюм и ботинки...

Как и другие, я степенно подошел к старшему мастеру, принял свою премию и, решив, что нужно что-то ответить аплодирующему собранию, завел нечто длинное и нескладное. Помню только конец своей речи.

— Да здравствуют премированные парикмахеры, выполнившие и перевыполнившие свой план! — ляпнул я.

«Как это глупо!.. Надо было сказать что-то другое!» — подумал я в тот же миг. Я вспыхнул, побагровел до ушей и быстро ушел, браня сам себя.

Меня всегда раздражало, когда какой-нибудь кривой переулок на грязной окраине именуют Пушкинским или новорожденному дают имя, составленное из великих имен гениев человечества. Очень важно уметь оберегать от повседневной мелкой ерунды священное и великое. И вот вдруг я сам адресовал торжественное и гулкое «да здравствует» кучке парикмахеров, известных мне пошлостями и дразгами.

Легко представить, что в интернат я вернулся в самом дрянном настроении.

Бораш готовился уезжать в Москву. К отъезду он купил себе ярко-красный чемодан и аккуратно укладывал в него свои вещи. На столе стоял горячий утюг и лежала стопка выглаженных носков и платочков.

— Значит, будешь артистом, Бораш? Решил окончательно? — глядя на его красный чемодан, сказал я.

— Это же мое призвание, Костя! — гордо ответил Бораш.

— Мы осенью непременно встретимся в Москве! — утешал я не его, а себя.

Мне стало несколько легче в надежде на то, что я всю ночь просижу с Борей, на рассвете провожу его на вокзал, а тем временем, может быть, сумею забыть о своей нелепой речи на собрании парикмахеров.

Но молодость впечатлительна. Я не мог отделаться от стыда за свое выступление и после отъезда Бори. Мне все опротивело в парикмахерской. Я перестал интересоваться высокими лбами и красивыми шевелюрами. Затратив на бритье клиента ровно пять минут, я выкрикивал сухо:

— Следующий!

С тяжким чувством подсчитывал я дни, проведенные в мастерской.

«А что же хорошего и толкового сделал ты в жизни? — спросил я себя. — Окончил семилетку? А дальше? Что видел, что чувствовал ты за семнадцать лет? Ведь даже и не влюбился!»

Я пришел к заключению, что жизнь нельзя считать по дням. Если все дни так похожи один на другой, зачем их отсчитывать? А за целый год, так или иначе, ты всегда наткнешься на что-нибудь примечательное. Ведь так и считают люди: просто «годы учебы» или год, когда съездил в Москву, год вступления в комсомол, год женитьбы. Но и этот способ, отличающий один год от другого, оказался непригодным для моей жизни. Меня мучило сознание бесплодности прожитых мной и дней и годов. Я казался неинтересным себе и людям.

Не потому ли и Шеген чаще писал из военной школы не мне, а

Борашу?

Я был влюблен в своего старшего друга, полного крайностей, жизнелюбивого озорника и насмешника и вместе с тем любителя книг, верного и чуткого товарища и человека с твердыми решениями. То, что ему не хотелось писать мне письма, доказывало лишь мою неспособность отвечать на вопросы, которые всегда занимали его беспокойный ум.

Я волновался и ревновал.

Теперь, когда Боря уехал, Шеген совсем забудет меня! Я должен сам написать ему, рассказать о своих сомнениях и выслушать того, кто, не зная о том, был для меня самым близким на свете человеком и самым достойным для подражания образцом.

Я бесповоротно решил бросить свою парикмахерскую, но куда потом денусь — не знал. До осени было еще много дней, чтобы выбрать путь, и это меня не смущало.

Окончание семилетки и наступившая весна разбудили во мне воспоминания детства и ленивые мечтания.

Воспоминания принесли мне из дали прошедших лет милый образ маленькой Акботы, которую я так стыдливо любил в ауле. Весь день я видел ее перед собой такой, какой была она в семилетнем возрасте. Только к вечеру я догадался прибавить ей столько лет, сколько прошло со дня нашей разлуки, и вдруг она сразу выросла, через плечо перекинулись длинные косы, серьги сверкнули в ушах. Далекий ее образ с каждой минутой становился все милее и привлекательней. Белый мой верблюжонок! Я вспомнил ее смешную привычку изъясняться с помощью кулачков. Хорошо, если эта привычка сохранилась: это послужило бы моей выгоде — Акбота при встрече оттолкнет меня кулачком, а я схвачу ее за руку и притяну к себе. Сладкая мечта!

Нет, все же не эта мечта волнует меня. Вот Шеген уже летчик, Бораш уехал в Москву и станет артистом. А я парикмахер! К чертям!

Мне припомнились стихи Абая:

В великой стройке мировой  
И ты надежный камень,  
Найди лишь место, прикрепись —  
И будешь жить веками...

Довольно глядеть на мир из окна! Пора и мне искать свое место!

Утром я прибежал в облоно и выложил сразу два веских довода,

доказывающие мое право искать свое место в мире: аттестат парикмахера-мастера и документ об отличном окончании семилетки. Я просил послать меня учиться в Москву.

Тот же зав, что когда-то связал мою судьбу с бритвой и ножницами и потому мой давний недруг, с олимпийским спокойствием отвел глаза от моих бумаг, затем придвинул их к себе и решительно наложил резолюцию: «Зачислить на подготовительные курсы педагогического института». Я в ужасе протянул было руку к своему заявлению, но документы мои мгновенно исчезли в ящике стола.

— Почему ты бросил парикмахерскую?

— Хватит уже с меня быть парикмахером!

— Работать не хочешь?

— Нет, почему же...

— Знаешь сам почему. Вам кажется — всех вас ждет только Москва. Я понимаю, ты хочешь учиться. А для чего? Только для того, чтобы поднять себя самого. А тебя ведь растил народ. Народ содержал детдом, народ тебя обувал, одевал, кормил, народ оплачивал твоих педагогов. Тебе семнадцать лет, пора и тебе подумать о народе! — с неожиданной энергией отчитал меня толстый и, казалось, такой равнодушный начальник.

Его упреки показались мне несправедливыми. Почему он обвиняет меня в стремлении стать образованным лишь для себя? Шеген стал летчиком для народа. Бораш, когда станет артистом, тоже будет служить народу. Он принесет ему песни и радость сердца, а я... Но тут было одно слабое место: я еще сам не знал, кем хочу стать, и мне смутно рисовалось собственное будущее величие. Я не столько думал о пользе своей деятельности, сколько о всеобщем уважении ко мне, о преклонении передо мной за эту деятельность.

— Я и хочу получить образование, стать ученым, чтобы народ мной гордился, — уверенно возразил я наконец.

Заведующий усмехнулся.

— Народ тобой будет гордиться тогда, когда ты станешь ему полезен. Вот смотри, — он расстелил по столу огромную разграфленную бумажную простыню, которая живо напомнила мне таблицу, приведшую меня в свое время к постылой профессии парикмахера. — Смотри, вот наш план развития школьной сети. Ты хотел грамоты, ты к ней стремился, но весь наш народ, придавленный в былые годы своей темнотой, тоже хочет быть грамотным. С неграмотными нельзя войти в коммунизм. Нам нужны десятки тысяч простых педагогов. Где же будем их брать, если вы все, кого мы растили, станете знаменитыми профессорами? Учителя давали тебе



знания на народные средства. Ты должен вернуть долг народу и дать ему одного достойного учителя, который будет вести к просвещению наших ребят... Ты комсомолец?

Я молча кивнул.

— Тем более ты должен понять меня. Прошлый выпуск мы неосмотрительно разбазарили. В этом году девяносто процентов казахов, окончивших школу, мы пошлем в местный педвуз. Пора научиться видеть все с высокой горы, а не с маленькой кочки своих интересов. Ты понял?

Что мог я ему возразить? Я промолчал, но не кивнул в знак согласия.

— Ну, вот и отлично! На лето я посоветовал бы тебе вернуться назад в мастерскую. Не нужно утрачивать привычку к труду. А за месяц до начала занятий возьмешь себе отпуск и съездишь в родные места попить кумыса.

Я мрачно вернулся в интернат. Там ждала меня внезапная радость — большое письмо от Шегена.

Слезы так и брызнули у меня, когда я увидел голубоватый конверт со знакомым твердым почерком Шегена. С почтовой марки сурово глядел летчик в шлеме с большими очками на лбу.

Мои глаза жадно скользили по строчкам, выхватывая отдельные фразы и обрывки мыслей. У меня не хватало терпения прочесть все письмо подряд. Сквозь слезы ловил я громкие и крылатые, а следовательно, самые правильные для меня в мире слова старшего друга.

Только на берегу Урала, в совершенном уединении, удалось полностью прочитать все это письмо, которое послужило мне решающей путевкой в жизнь.

«Здравствуй, боксер!» — начиналось письмо Шегена. Далее перечислялись все мои титулы и звания вроде поощрительного «бегун», сердечного «дурень», насмешливого «философ». «Боксером» Шеген называл меня с того самого дня, когда я, года три назад, весь в синяках, изрядно потрепанный, вернулся с товарищеской встречи по боксу с командой ФЗУ.

Все, что писал Шеген дальше, было похоже на выдержки из «Песни о Соколе», которую он любил и знал наизусть. Как летчик, он, вероятно, в душе уподоблял себя Соколу, привыкшему видеть мир с высоты полета.

«Мир прекрасен тогда, когда широк горизонт, — писал он, — а горизонт широк с высоты. Не думай, что я, как летчик, считаю, будто только моя профессия дает широкий взгляд на мир. Нет, я понимаю не только физический горизонт и не только летную высоту. Сам я летаю в прямом смысле слова, но признаю, что взлететь могут и те, кто никогда не садился и не сядет в кабину самолета. Ползать же плохо всегда. Наша эпоха

— это эпоха скоростей и высот, которые обогащают и ум и сердце. Сегодня я вернулся из дальнего полета, длившегося десять дней, и за эти десять дней я увидел разные народы в таких местах, куда наши отцы не смогли бы добраться во всю свою жизнь.

Ты знаешь, насколько я старше тебя, но теперь я стал много старше. Мне кажется, я уже долго жил. Мы познаем мир в иных темпах. Все, что видели и узнавали наши отцы за всю свою жизнь, вполне вместились бы в скромный курс семилетки, который усваивает без напряжения каждый советский мальчишка. А для взрослого советского человека это уже голодный паек.

Не сочти это за пустую красивую фразу, но, признаюсь, я предпочитаю жить полной душой каждый миг, чем скапливать по копейке в день. Этому учит меня тот же Сокол, которого я так люблю с детства, но понять которого смог лишь теперь, на своих стальных крыльях.

Ты не из породы ужей. Я знаю, что ты полетишь, но где найти тебе крылья? Я думал об этом после твоего последнего письма, но как посоветовать, если ты так мало пишешь о собственных склонностях и мечтах? Куда тебе хочется самому? Просторы полета необозримы, но надо не ошибиться при выборе. Бороться за наше будущее ты сможешь всюду. Не только у нас, в авиации, встретятся битвы. Не только у нас проявляется „безумство храбрых“...»

Кончалось это романтическое письмо неожиданно серьезно и значительно: Шеген писал о том, что партия открыла перед ним путь, по которому он пойдет до конца жизни. Итак, он уже вступил в партию, а я еще только комсомолец! Шеген всегда шел впереди меня, и теперь он снова указывал мне дорогу.

Я всю ночь думал над этим письмом, так похожим на песню. Оно опьянило меня. К утру я принял решение, о котором написал другу уже после его осуществления.

С утра я сразу отправился в военкомат. Шеген помог мне найти возражения пространной, но недостаточно романтической и горячей речи заведующего облоно. Юное сердце с жаром откликнулось на поэтический пыл Шегена, и я воинственно напевал себе под нос, складывая в чемодан несложные свои пожитки.

С первым протяжным гудком парохода вошел я на пристань.

Укутанный в густой синий шелк рассвета, город медленно просыпался. Там и сям колебались тусклые огоньки в одиноких окнах. Огромным, в кулак, алмазом сверкала Венера, подмигивая запоздалым вздохам и шепотам в саду. Откликаясь торжественному хору лягушек над рекой,

неугомонно лаяли сотни окраинных дворняжек.

Раскинув по тихой глади реки длинный отсвет прожектора, дрожа от биения собственного сердца, стоял теплоход «Казахстан». С чемоданом в руке я поднялся на верхнюю палубу.

## VIII

В спокойной гордости скользит голубой теплоход, оставляя за собой серебрящийся треугольник кипящей воды. Весело бегут к берегам волны и, сбросив там искрящийся на солнце кружевной наряд пены, возвращаются вспять. Стоит полный неги, сверкающий майский полдень. Бурый лохматый дым парохода, сходный с растянутым караваном верблюдов, долго висит над рекой, медленно тая и превращаясь в вереницу фантастических чудовищ и зверей.

Это стремительное и уверенное движение к морю нашего теплохода, несущего на бортах имя родной республики «Казахстан», кажется мне символичным.

— Казахстан! — наслаждаясь певучими звуками этого слова, вслух повторяю я.

С верхней палубы теплохода он расстилается перед моим взором, как бескрайний степной океан.

— Казахстан!

Его аулы, его табуны... Вот постройки новой железной дороги. Вот в пустой степи, рыча, вгрызаются в землю экскаваторы, и сплетенные из стального кружева подъемные краны вытягивают свои длинные шеи. Вот в дикой степи поднимаются высокие здания, скрытые строительными лесами. Да, Казахстан — это великая стройка. Мы строим за себя, за отцов, за дедов и прадедов, мир их душе!

Вплотную к реке по правому берегу зеленеют прямоугольники огородов русских поселков. Слева бегут казахские степи с колхозными аулами, с бесчисленными табунами коней, с удивленно торчащими там и здесь верблюдами.

Пароход везет в низовья зерно, замысловатые и непонятные части каких-то машин, двух темно-серых ахалтекинцев и двух одnogорбых великанов верблюдов.

— Ну и кони! Весь мир на них можно объехать! — восторгается молодой казах. — Весь мир! А ты дальше Уральска бывал? — поддразнивает товарищ.

— Нет, ты вот на кого посмотри! Вот, гляди! — восклицает третий казах, с восхищением глядя на величавые «корабли пустыни». — Сорок дней по горячим пескам без глоточка воды, без единой травинки!

— Наши, туркменские, — вмешался попутчик в огромной белой

бараньей папахе.

— Как так ваши? — поднялся человек в черном бархатном бешмете.

— Конечно, наши.

— Как же ваши? Нашего колхоза верблюды! Я председатель колхоза «Кайракты»!

Он назвал наш колхоз, и я сразу насторожился.

— Вот чудак! Да откуда они родом? — возражает первый.

— А, родом! Ну, родом-то, может быть, и ты из казахской земли, откуда-нибудь с Боз-Аты, а на самом деле только туркмен!

— Ну и что ж? Ты, может, тоже родился в туркменской долине Сорока колодцев, а по всему видать, что ты только казах!

— А ты почему знаешь, откуда я?

— А ты почему знаешь?

Они рассмеялись, поняв, что оба они родились на тех землях, которые издавна заселены обоими народами и в течение веков были предметом раздора между ними, а теперь превратились в место тесного дружеского слияния двух культур.

Вот уже они сидят на полу, и каждый развязывает свой ковровый хурджун<sup>[6]</sup>.

— Кушай, кушай, мой дорогой туркмен!

— Пей, пей, пожалуйста, мой дорогой казах!

Я представляю себе их спускающимися верхом с двух сторон к степному колодцу лет двадцать тому назад. Между ними встали бы века дикой вражды, реки крови, пролитой за чужие обиды и за чужую пустую, ненужную славу. Пустыни и степи были бы недостаточно широки для того, чтобы этим двоим мирно разъехаться. В богатом свежей водой колодце оказалось бы слишком мало воды для них и их коней. Сперва они обменялись бы насмешками и оскорблениями, потом взялись бы за дубинки.

Теперь сидят они рядом, беззлобно шутят, вместе смеются над тем, из-за чего прежде схватились бы насмерть.

Я наблюдаю за ними и жду, когда они возвратятся к теме «только казах», «только туркмен». Если в них уже нет и следа этой дикой старинной вражды, то что же означают их слова?

Я понял это, лишь вслушавшись в дальнейший разговор: быть «только казахом» или «только туркменом» означало уметь делать только то, что умели делать отцы и деды, то есть быть владыкой степных табунов и покорным подданным степи. Но обоим это уже не могло удовлетворить.

— Вот погляди, что сложено там, — говорит казах. — Машины! А что

за машины, что с ними делать, не знаем ни я, ни ты.

— Верно! — вздохнул туркмен. — Глаз видит, а ум не берет. Или вот — забрался на пароход, двенадцать рублей заплатил, а как, почему он идет, не знаешь!

Сокрушенно причмокнув языками, они с огорчением покачивают головами. Меня восхищает то, что оба они не хотят оставаться тем, чем были их деды. Меня тянет к ним, как магнитом, и я подхожу к ним.

— Вот они должны все знать, — указал на меня казах, который назвал себя председателем нашего колхоза «Кайракты». Что-то знакомое, но забытое было в его лице, хотя эти нависшие усы и серебристую седину я видел в первый раз. И вдруг, представив себе его без усов, я узнал в нем милиционера, который когда-то доставил меня в детдом, а в день нашего отъезда снова встретился с Шегеном, когда мы прощались с городом.

Я с благодарностью схватил его за руку.

— Э! Э! Э-э! — вот единственное, чем прерывал он мой подробный рассказ о благородных стремлениях и подвигах моего друга и, когда я закончил, воскликнул — Эх! Вот ведь каким ты стал нынче! Не зря я старался!

Он обнял меня и прижался влажной щетиной к моему лицу.

— Ты въедешь в колхоз на этом ахалтекинце! — сказал он, видно желая погордиться мной, как произведением собственных рук.

— Нет, ведь я еду к матери в Гурьев, — огорчил я его.

«Казахстан» дал широкий круг по воде и пристал к берегу. Бывший милиционер, теперь председатель колхоза, стал выводить своих породистых лошадей и верблюдов.

В толпе, ожидавшей у пристани, промелькнула фигура молодой женщины с ребенком и рядом синяя кепка, плотно надвинутая на голову щупленького мужчины. Я вздрогнул и замер у выхода. Два встречных потока людей двигались с парохода и на пароход, толкая меня и бранясь за то, что я встал не на месте. Многоголосая толпа пассажиров, напирая на выходящих и, словно в водовороте, крутя юную мать с ребенком, ворвалась на нижнюю палубу. Женщина поднимала ребенка почти над своей головой, спасая от напора толпы, малютка беспомощно попискивал. Муж, оттертый толпой от женщины, что-то издали кричал ей. Огромный тюк на мощной спине входящего пассажира прижал молодую мать к стенке. Я оттеснил тюк в сторону, высвободил женщину и взял из ее рук ребенка.

— Господи, ты ли, Кайруш? — Она сразу узнала меня.

Раскрасневшаяся, пышущая всей свежестью молодости, она была изумительно хороша. В детстве Акбота была пухленькой, широколицей, с

мягким носиком и твердыми кулачками. Теперь лицо ее из кругленького стало овальным, нос приобрел благородную прямизну, сама она похудела и стала стройной.

Черные глаза ее взглянули в упор на меня. Я молчал, опустив глаза.

— Кайруш, это ты? — переспросила она уже неуверенно.

— Видишь сама, Акбота...

— Ведь говорили, что ты превратился в Костю...

— А разве тебя нельзя назвать нежно — Бота?

— Но говорили, что ты никогда не приедешь в аул, что ты бросил мать, — сказала она, с упреком глядя на подошедшего мужа.

Я понял, что именно от этого низколобого, неприятного человека и пошли эти слухи. Я был готов раздавить его тут же. Он, видно, тоже понял меня, глаза его воровато забегали по окружающим лицам, он поспешно поставил на палубу свой чемодан и мешок, взял у меня ребенка и передал матери. Потом, подняв свои вещи, мотнул раздвоенным подбородком вперед и крикнул:

— Эй, катын<sup>[7]</sup>, пошли!

— Какой маленькой куколкой была ты, Бота! — тихо сказал я.

— Эге, опоздал ты этой куколкой забавляться! — внезапно крикнул мне в самое ухо ее муж и поспешно скрылся за поворотом. — Эй, катын! — слышался снова его окрик.

Акбота сдержанно сверкнула глазами, молча пожала мне руку и покорно пошла за ним.

Она раньше меня достигла своих двадцати лет!

Я ехал один в четырехместной каюте. Идя к себе, я увидел, что туда же впускают Акботу с ее мужем. Я решил остаток пути провести на палубе и больше не встретил ее ни разу. Изредка до меня доносился детский плач, тогда я переходил на другой борт. Если я замечал сухопарую узкую спину тщедушного повелителя Акботы, я искал себе новое место.

## IX

В юном возрасте видишь так много, что не сразу можешь во всем разобраться. Впечатления захватывают тебя, как набегающие одна за другой волны. Ты натыкаешься все на новое и на новое, и каждый раз непременно тогда, когда мысли твои еще заняты чем-то предшествующим. А мысли твои никогда не бывают свободны, потому что пищей для них служит все, на что бы ты ни взглянул. Молодой ум все хочет обнять, все познать и освоить и хватает все жадно и поспешно, чтобы не опоздать схватить следующее, что попадаетеся на его пути.

Едучи к матери, я старался думать о ней, о нашем свидании, но новые места и встречи захватывали меня И тянули в море богатого и широкого мира, как волны, которые уносят от берега неопытного пловца. Когда в Гурьеве я сошел на пристани и приближался к знакомому мосту через Урал, я снова вернулся мыслями к матери. Однако и тут подкарауливали меня новости: знакомого деревянного моста, вечно дрожащего под колесами нагруженных возов, как не бывало — на его месте высился железный. С него открывался широкий вид.

Приземистый и бесцветный прежде Гурьев теперь поднялся и вырос, по обоим берегам Урала возвышались стройки, сверкали стеклами корпуса новых больших зданий, и знакомая река как бы осела и присмирела. Гул катящихся через мост машин сливался с тонким певучим звоном электрических циркулярных пил, с разноголосым стуком на стройках.

Вдали на широкой серебряной скатерти моря стояли, дымя, пароходы и раздували белые паруса многочисленные рыбацкие суда.

«Казахстан!» — пропело опять мое сердце.

Мать я нашел на стройке многоэтажного здания: она подавала на текущую ленту транспортера кирпичи.

— Апа!

Увидев меня, вернее, узнав мой голос, она уронила кирпич, и он раскололся возле ее ног. Она прильнула ко мне, и только в ее объятиях я вдруг почувствовал, как много думал о ней — и ничего-ничего для нее не сделал.

Я еще не знал, в чем счастье матерей, в чем святая обязанность сыновей, но вдруг мне захотелось создать для нее все, чего она не видела в жизни, — достаток, тепло и покой. Я целовал ее руки. Как заскорузлы и грубы были ее рабочие пальцы по сравнению с моими, не знавшими такого



труда! Как морщинисто стало лицо, покрытое мелким налетом бурой кирпичной пыли, подчеркивающей каждую складочку кожи! Я хотел бы дать ей что-то такое, о чем она не мечтала в жизни.

Мать обнимала меня и, глядя на мои широкие плечи, радовалась моему здоровью, моим молодым нерастраченным силам, а я про себя повторял, как клятву, что я для нее сделаю «все, все, все», а что означало это «все» — я еще не мог представить себе. Я только был уверен, что это будет безгранично и сказочно.

— Маленький мой! — лепетала мать, прижимаясь к моей груди головой, а «маленький» нагибался, чтобы она могла достать и погладить волосы на его голове.

Дома у матери было по-старому, но вместе с тем на всем лежал отпечаток новизны. Аул еще чувствовался в жизни матери, но город, уже завладев ею, ставил свою отметку на всем ее быту. Это сказывалось и в одежде, и в обуви, и в обстановке.

Посмотреть на меня и на радость матери приходили соседки, такие же работницы, как и она сама, но разговор их не вертелся вокруг удоя коров и вокруг очага, как прежде. Они говорили о «нашем» заводе, о «нашей» стройке, о «нашем» завкоме и клубе.

Совсем по-иному выглядел и мой старший брат, который на верхнем этаже той же стройки складывал стену из кирпичей, подаваемых матерью на транспортер. Он стал суровее, деловитей. Он был бригадиром строителей и говорил о социалистическом соревновании, о плане и выполнении норм.

Вечером в честь моего приезда сошлась вся семья. Я был центром внимания, но стеснялся рассказывать о себе. О чем я мог рассказать? О своей профессии парикмахера, о том, что тоже умел перевыполнять планы по бритью и стрижке, что даже за это был премирован?

Я только сказал, что окончил учение и призван в армию.

В то время ходило немало тревожных слухов о предстоящей большой войне, и я скрыл от матери, что иду добровольцем. Она встревожилась, но брат мой утешил ее, сказав, что, раз я окончил школу, меня должны послать на командирские курсы, где я буду учиться еще, может быть, несколько лет, прежде чем попаду на войну.

Разговор перешел на аул, на знакомых. Я рассказал про встречу мою с теперешним председателем нашего колхоза, но умолчал о том, что больше всего царапало мое сердце, — о своей встрече с Акботой. Но мать вдруг сама обратилась ко мне:

— Ты помнишь, Кайруш, Акботу? Ее на днях выдали замуж.

— Как на днях? У нее уже ребенок!

— Это ребенок ее покойной сестры. Она была первой женой ее мужа.

Мать рассказала длинную запутанную историю о том, как муж Акботы, бухгалтер горторга, после смерти жены прибрал к рукам ее родных, а потом завладел и самой Акботой. Для меня было ясно только одно, что Акбота раньше меня достигла своего двадцатилетия! Какое мне дело, что муж подделал документы и прибавил ей несколько лет для того, чтобы взять ее в жены? Мне оставалось одно — сократить свой отпуск и бежать поскорее прочь.

В день моего отъезда мать собрала родных и знакомых и устроила семейные проводы. Передаваемая из рук в руки, традиционная голова барана уже направлялась к старшим, растопырив опаленные уши и зажмурив глаза, словно предчувствуя неотвратимость предстоящей расправы.

Из — за приотворенной двери протянулась рука с чашкой кумыса. Все оглянулись.

— Тебе, тебе, мой Кайруш, — подсказала мне мать.

Я поднялся с места, подошел и принял пиалу из маленькой пухленькой женской руки. За дверью было уже темно, и я не видел лица женщины. Взяв чашку правой рукой, левой сжал руку, которая подала мне чашку, и почувствовал напряженное биение ее молодой крови. Я выпил. Горячая рука только раз ответила мне коротким пожатием и ускользнула, оставив в моей ладони маленький, свернутый в треугольник листок бумаги.

С этим талисманом и с выпитой чашей дружбы, а может быть, даже любви и верности, я опять покинул родные края и уехал.

Именами святых предков и всех древних батыров благословляла меня в дорогу мать. Это согревало мое сердце. Но еще горячее жег талисман, хранившийся на груди возле сердца, — записочка, содержащая всего четыре слова: «Не забудь, не забуду». А что нам обоим не забывать — это было понятно только двум нашим сердцам.



## Часть вторая

**С** Колей Шурупом мы явились в пограничную часть в один и тот же день. Вот скоро будет уже два года, как мы с ним спим на соседних койках и дружим неразрывно. Товарищеская выручка в боевой обстановке — непреложный закон красноармейца, но, если двух бойцов связывает братская дружба, она еще больше усиливает их стойкость и мужество. Это хорошо понимал наш начальник заставы, который обычно высылал нас с Колей в дозор вместе.

Мы поверяли друг другу затаенные мечты и стремления. За эти два года я узнал все, что можно узнать о жизни Коли, он — о моей. Нашу дружбу скрепило еще одно: оба мы были боксерами с одинаковым стажем, в одном весе и тренировались вместе; поэтому мы и заслужили на заставе кличку «Аяксы».

И вот мы обменялись прощальным товарищеским ударом перед расставанием. «Мыкола», как за украинский акцент звали Шурупа наши товарищи, врачую полученную мной ссадину над левым надбровьем, восторженно восхвалял удары моей правой руки, хотя ссадина была получена мной, а не им. «Ох, этот Коля!» — так любят о нем говорить знакомые девушки.

Завтра, после очередной смены, нам предстоит расстаться. Коля едет в распоряжение штаба дивизии. Надолго ли, для чего — он не знает и сам. Попытки его выяснить что-либо у начальника или комсорга остались без успеха. Однако комсорг заикнулся о том, что поучиться всегда хорошо. Поэтому мы решили, что, вероятно, расстанемся не на дни, а на недели и, может быть, даже месяцы.

Как раз в тот день я получал свой месячный отпуск. Незадолго перед этим мне удалось поймать одного за другим двух шпионов. Первого я словил без всякого шума, и его хозяева с той стороны границы были вполне уверены, что на этом участке границы есть безопасный проход. И через два дня тем же путем они пустили второго, более ценного: первый был лишь «пробным шаром». Отпуск, полученный мною за этих двух прохвостов, я должен был провести в одном из санаториев на берегу Черного моря. Но одна идея, внезапно озарившая меня, заставила попросить у начальника разрешения вместо санатория съездить домой, в родной Гурьев.

И вот мы с Колей задумались над раскрытыми чемоданами, словно

затрудняясь тем, как уложить наши небогатые пожитки.

Каждый боец, уходя из родных мест в армию, захватывает с собой что-то личное и дорогое. Отдавая себя целиком на службу отчизне, он хранит сокровище в глубине своего сердца. Так и я пронес в себе через эти два года тревожную и сложную загадку: куда исчезла моя Акбота?

Загадку эту загадал мне низколобый щуплый человек в знакомой противной синей кепке. Это было еще в Уральске, на пятнадцатый день моего пребывания в армии. Наша рота возвращалась с занятий. На спине каждого — полоска пота, на плече — громоздкая серая колбаса шинельной скатки, на ногах — запыленные сапоги, а на устах — бодряя песня.

У ворот городка перед нами мелькнул какой-то «гражданский», но я, как и многие другие, не обратил на него внимания. И вдруг, едва мы поставили в пирамиду винтовки, меня окликнул дежурный.

— Вас дожидается у ворот родственник, — сказал он, — целый день ждал, бедняга!

Только подойдя и вежливо откозырнув гостю, я узнал в нем мужа маленькой Акботы. Глаза его уставились на меня со злостью, и выражение лица было такое, словно он собирался вонзить в меня свои золотые клыки.

— Где жена? Где моя жена? — прохрипел он.

— Какая жена? — произнес я, растерянно соображая, что его слова могут означать какое-то несчастье, случившееся с Акботой.

— Какая жена? Которую ты украл! — крикнул он в исступлении.

Я стал объяснять ему, что бойцы Красной Армии не умыкают женщин и что, помимо устава, этому препятствует также отсутствие женской половины в казарме. Я уже понял, что Акбота убежала от него, и радостное сознание этого факта, может быть, придало моим вежливым аргументам оттенок насмешки. От этого он совершенно взбесился и бросился на меня с кулаками.

Для меня, неплохого боксера, отразить удары его длинных, но жиденьких рук было просто. Однако отвести его подальше от городка оказалось не так уж легко. Он приседал, визжал, валился с ног, упираясь. Пришлось попросту сграбастать его в охапку и оттащить шагов за сто от городка, на пустырь, куда выносился мусор. Придержав его без усилий за галстук, здесь, в стороне от людей, я сказал ему несколько ласковых слов и пустил на волю.

В тот же вечер я нашел у себя на койке первое письмо от матери, написанное братом. На четырех страницах, вырванных из тетрадки, содержалось едва ли более полусотни слов. Каждое слово, как ископаемый ящер, извивалось вдоль целой строки, почему-то с обязательным

переносом последней буквы каждого слова в новую строку. Я впервые увидел, как враждебен мозолистым рукам моего старшего брата карандаш. Но более дорогого письма, чем это, я еще не получал.

Между прочими новостями мать сообщила, что Акбота исчезла из дому в тот самый день, когда я уехал из Гурьева. Если бы я тогда знал!

Со щемящей сердце болью я вспомнил, как вскочил с паровой койки, увидев мелькнувшую перед окошком каюты женскую фигурку в шелковом голубом платке на плечах. Это было уже поздним вечером, и свет из каюты освещал лишь узкий квадрат в общем мраке палубы. Большинство пассажиров уже улеглось. «Акбота!» — воскликнул я про себя и вылетел на палубу, но никого не встретил и лишь усмехнулся собственной глупости и самоуверенности. Но как было бы радостно сознавать, что Акбота плывет со мной на одном пароходе, бросив мужа понятно ради кого.

Письмо матери подтверждало, что я был тогда прав.

Несколько дней после неожиданного гостя и этого письма я жил, гордый мыслью о том, что Акбота меня любит и ради меня покинула мужа. Я сам заметил, что поступь моя в эти дни сделалась увереннее и тверже. Каждый день я настойчиво и требовательно смотрел на дежурного, ожидая, когда же он наконец сообщит, что меня у ворот городка ожидает «родственница», и восхищался необычайной решимостью и смелостью Акботы. Но вдруг я подумал: где же я ее здесь устрою? Она же не винтовка и не вещевой мешок.

Но мне не пришлось искать в казарме места своей жене. Дежурный не сообщал мне о посетительнице. Печальная неизвестность скрывает мою Акботу.

И вот далеко от родного края, на новых местах, я несу свою повседневную службу по охране границы. Изредка я получаю от матери письма, но в них нет ни слова об Акботе. На мои вопросы мать отвечает одно и то же: «Я ничего о ней больше, мой милый, не знаю». Девушка же, которая вместо занятого работой брата иногда пишет легким красивым почерком материнские письма, подписываясь буквой «С», уж наверное никогда и не знала мою Акботу.

Вот загадка, над которой я продолжаю раздумывать. Может быть, здесь и не так уж много настоящей любви и верности, может быть, главную роль играет юношеское самолюбие, но все-таки я не в силах отвлечься от головоломки: «Куда же, в конце концов, она девалась?» Казалось бы, время должно было вылечить меня от этой навязчивой мысли, но вышло наоборот: чем дальше, тем чаще я возвращаюсь к ней, и все милее и милее

мне становится нежный образ исчезнувшей Акботы.

Позавчера, когда я шел с поста в казарму, мне показалось, что между розоватыми облаками зари вдруг блеснул яркий луч желанной разгадки. Мне пришел в голову совершенно новый, а следовательно, наиболее убедительный вариант.

Этот вариант заключался в том, что та неведомая мне «С», которая пишет материнские письма и которая утешает меня в неизвестности, окутавшей Акботу, и уверяет, что я найду в ауле и в городе много красивых девушек, не могла быть никем иным, кроме самой Акботы!

Я разложил все письма, полученные от матери и подписанные буквой «С». Отдельные строки дышали милым и целомудренным лукавством, невинной и ревнивой женской хитростью. Я понял, что каждая такая фраза и строчка допытывалась о моем чувстве — серьезно оно или нет? Почему-то я вспомнил, что мое двадцатилетие наступило.

Тогда-то я и пошел к начальнику за разрешением провести свой отпуск у матери. «Еду повидать мать», — сказал я и своему Мыколе и товарищам. И вот я стою перед раскрытым чемоданом, проверяю глазами, надежно ли убраны письма, а сердце кричит: «К Акботе! К моей Акботе!»

Коля взглянул на часы и позвал:

— Пошли...

## II

Нет, сейчас, когда я собрался уезжать к «ней», я совсем не жаждал захватывающих пограничных приключений.

Только с желанием мира и благополучия приближался я к безмолвному стражу нашей границы, к пограничному столбу, так убедительно, твердо стоявшему на своем месте. Я много раз уже думал о том, что на него, на этого стража, обращены взоры миллионов людей соседнего государства. Одни смотрят на него с ненавистью и злобой, с завистью, с досадой бессилия, другие — с надеждой и верой.

За эти два года я привык к тому, что на посту нужно прежде всего сосредоточиться и обострить свое внимание. Эта привычка отогнала все посторонние мысли, едва я вступил в заветный район столба. Разумеется, я не отказался от воспоминаний и мечтаний, я просто отложил их до более подходящего времени.

Со мною рядом залег мой верный друг, осторожный Рекс, он тоже смотрит куда-то вперед, за этот столб, насторожив свои чуткие уши. В его умных глазах, устремленных вперед, играет едва заметное пламя какой-то особой собачьей «мысли».

В сотый раз я думал о том, что все милые нам мечты и надежды, уверенное ощущение себя человеком и гражданином — все это возможно лишь по эту сторону пограничного знака. Этот столб означает не только границу земель двух соседних государств, — это граница двух различных мироощущений. Представь себе, что ты за этим столбом, на той стороне, — и ты тотчас потеряешь почву под всеми своими мыслями, ты утратишь даже право на привычные с детства мечты, которые воспитала в тебе родина, ты окажешься в царстве далекого прошлого, в печальном царстве дедов и прадедов. Караваны веков медлительной поступью потянутся перед тобой, неся свой древний тяжелый груз, нами сброшенный уже. Такой когда-то была и моя страна. Нудно тянулись медлительные азиатские века. В мертвой неподвижности были распластаны степи. Мысль, родившаяся в эпоху стрелы и копья, кетменя и омача, стремилась жить в эпоху электричества, жить, как вечная истина, сохраняя владычество прошлого над настоящим. Века навалились громадой на спину народа и заставляли его питать своей кровью и потом гнилые корни старины, которая отнимала соки у юности, не давая ей испытать счастье цветения. Печально бренчала домбра певца, оплакивая народное горе. Его одинокие призывы к борьбе



были бессильны.

Об этом далеком, навек ушедшем напоминала страна, лежавшая за полосатым пограничным столбом. Все старое считается там святым. Этим объясняется и их ненависть к нам: они боятся, что их народ, увидев, что мы сбросили тяжесть веков, сам разогнет свою спину.

Серый, колючий, как еж, куст, растущий по нашу сторону столба, служит тебе надежным укрытием от наблюдающих глаз врага: он свой и родной. А точно такой же куст за столбом топорщится, как встревоженный тарантул, и таит в себе коварные неожиданности.

Рекс внимательно наблюдает за этими кустами, он словно непрерывно пересчитывает их.

Глубоко врезавшись в каменную подошву скалистых гор, пенисто мчится прыжками с камня на камень kloкочущая горная река. Она-то, собственно, и является нашей границей. По обоим ее берегам, по каменным складкам крутых склонов сбегает к воде одинокие лохматые деревца с серебристо-серой плотной листвой. Я давно уже сосчитал и пересчитал деревья. Я так же знаю и каждую складку и каждый выступ вблизи пограничного знака на родной и на чужой стороне.

Пограничники нашего еще недавно миролюбивого соседа, в последнее время получив какие-то новые инструкции от своего начальства, явно распоясались. Они вдруг стали чрезвычайно воинственны. Особенно это сказалось в последние два-три месяца. Каждую пятницу по утрам, гарцуя на красивых арабских конях, вдоль границы проезжают их офицеры, щеголяя позументами одежды и серебряной сбруей. Молодцеватый вид этих лихих наездников, видимо, вселяет в солдат воинственный и легкомысленный дух, отнюдь не соответствующий унылому однообразию окружающей природы. Выхватив из ножен кривые дедовские сабли, они полосуют ими воздух, мимически угрожая нам полным разгромом и истреблением.

Вероятно, истребление огромнейшего и могущественнейшего народа представляется им легкой забавой. Их жесты достаточно красноречивы и понятны, а крики их заглушают грохот ревущей внизу реки. Мне тоже не раз хотелось им крикнуть что-нибудь злое и острое, но меня удерживает устав и изречение великого Абая: «Кричащий во гневе смешон, молчащий во гневе страшен».

Страну наших соседей я знаю не так уж плохо. Помимо знаний, какие дала мне школа, я немало читаю и сам, помня слова начальника заставы, что своего соседа надо знать хорошо. Что нового прибавилось в жизни этой страны за последнее десятилетие? Перестали носить прежний крикливый,

нагло торчащий головной убор, а мысли в головах стараются сохранить неизменными. К бесславной истории недавнего прошлого прибавилась средненького достоинства текстильная промышленность, которую соседи к тому же и создали-то не сами. Но зато недавно они получили в презент от Гитлера нового «фона» с репутацией прожженного империалистического интригана. Примерно с этого времени их солдаты и демонстрируют нам свою наглость, очевидно считая ее храбростью.

Что нового привез с собой новый «фон» в эту старую страну, с каждым днем становилось яснее каждому простому бойцу нашей заставы. Мы все понимали, что не случайно участились попытки шпионов и диверсантов проникнуть через границу. Несколько дней назад на политзанятиях я по поручению парторга сделал доклад о новых иностранных влияниях на нашего пограничного соседа, поэтому все значение нашей службы я представлял себе четко.

Но смена моя протекла. Спокойствие не было нарушено, и я возвращался к себе на заставу, чтобы через несколько часов покинуть ее на целый месяц. Все мои радостные мечтания, запретные в часы несения службы, теперь нахлынули вновь. Рекс легонечко взвизгнул. Я его успокоил, призвав к ноге.

Прозрачный голубоватый горный воздух и розоватый пучок облаков, небрежно брошенный в чистое небо, пьянили ласкающей тишиной. Бедный травяной покров каменистого холма, всю ночь проведенный в ознобе, начал отогреваться и открывал навстречу утренней ласке солнца яркие желтые и синие звездочки. Рев горной реки доносился сюда лишь успокоительно-мерным дыханием. Я отдался снова плавному и широкому течению любовной мечты.

Вдруг неожиданный выстрел врезался в тишину. Мы с Рексом рванулись по камням и неровным выступам назад, к реке. Еще несколько выстрелов послышалось со стороны пограничного столба.

Прибежавший с полдороги, так же как и я, Коля Шуруп стоял в тени дерева и глухо ругался, всматриваясь через листву. Я взглянул в ту сторону. Скользя по камням, почти сбиваемая пенным течением, молодая женщина с ребенком на руках переходила реку и кричала:

— Аллах! Аллах!

Выстрелы грохотали ей в спину, но ни одна из пуль пока ее не задела.

На том берегу группа всадников обступила своих пограничников, что-то крича и грозя револьверами в сторону нашего берега. Двое из них, круто вздыбив коней, пустили их в реку вслед за беглянкой. Но выстрел нашего пограничника остановил их.

Женщина выбралась наконец на берег и кинулась прямо к нам. Добежав, она в изнеможении опустилась на землю, прижимая к себе плачущего ребенка.

Она была молода и хороша собой. Широкие шелковые ее шаровары были изорваны о камни, ноги разбиты в кровь. Плача и задыхаясь, она пыталась что-то нам объяснить, помогая себе жестами и отдельными русскими словами. Из ее взволнованного лепета мы кое-что сумели понять: отец ее, коммунист, как будто бежал в Советский Азербайджан, и она умоляла помочь найти его. Она призывала на нас имя аллаха, с ужасом оглядываясь на своих преследователей, которые все еще кричали и бесновались на том берегу, и протягивала к нам ребенка.

Я отдал Коле поводок Рекса.

— Держи, я отведу ее на заставу...

К нам подходил лейтенант.

— Что тут стряслось? — спросил он.

Вдруг Рекс с глухим, едва слышным ворчанием рванулся вниз по реке так настойчиво, что Коля тотчас пустился за ним. Оставив беглянку на попечение лейтенанта, я также бросился в чащу. Я бежал по их следу, прислушиваясь к треску ветвей. И вдруг совершенно рядом грянули выстрелы из кустов, я услышал дикий крик, потом рычанье Рекса и голос Коли:

— Держи, Рекс, держи!

В густом кустарнике ничком лежал чужой человек. Рекс, положив свою правую лапу ему на затылок, ухватил его руку своей страшной пастью. Рядом стоял Коля, держа пистолет в левой руке. С правой руки его обильно стекала на землю кровь.

— Ты ранен?! — воскликнул я.

С двух сторон бежали на помощь к нам товарищи — пограничники. Воспользовавшись суматохой, которую подняла красавица с ребенком, наши милые соседи попытались перебросить нужного им человека на смежном участке границы.

Так повернулась моя судьба. Мой друг Мыкола Шуруп был отправлен в госпиталь. Вместо него в распоряжение начальника штаба дивизии уезжал я. Сердцем я чувствовал, что этот крутой поворот надолго уводит меня от радостной встречи с моим белым верблюжонком.

### III

Только проехав многие сотни километров по железной дороге и прибыв на место назначения, я узнал, что зачислен на курсы, которые мне, спортсмену, оказались вполне по душе. Мы жили в отдаленном от городов лагере, который в шутку называли «курортом». Спорт, физкультура, интересные и разнообразные науки, дающие специальные знания, — вот были наши занятия. Короче сказать, в нашей программе было мало алгебры, но уравнений со множеством неизвестных было более чем достаточно.

Одним из веселых занятий на курсах были прыжки с парашютной вышки, которые перестали уже волновать и превратились в повседневную забаву, подобную детскому катанию на санках с горы. Но вот привезли настоящие парашюты, к вечеру наше футбольное поле было превращено в аэродром, на котором выложили полотняную букву «Т». Зеленый транспортный самолет взревел из-за ближнего леса, сделал круг над нашим «курортом» и опустился на футбольное поле. Мы кинулись бегом к самолету, но в этот миг прозвучала задорная песенка горниста:

Бери ложку, бери бак.  
Нету ложки — беги так.

Этот сигнал, призывавший к приему пищи, уже создал в нас условный рефлекс: от коротких танцующих звуков начинало сосать под ложечкой. Не добежав до самолета, мы построились к ужину, во время которого все разговоры сосредоточились на завтрашнем прыжке с самолета. Он несколько волновал и меня. Так же с волнением ожидали его и другие товарищи.

— Я боюсь одного, — откровенно высказывал опасения самый юный из нас, Володя Толстов. — Мне все кажется, что с испугу дерну кольцо раньше времени.

— Ерунда, — ответил Ушаков Петр, уже с гордостью носивший на груди парашютный значок. — Только думаешь так, а дернешь как раз тогда, когда надо.

Я боялся другого — как бы не оробеть на крыле самолета в момент команды. Инструктор командует: «Прыгай!» — а я стою, не решаюсь. Вот

будет скандал!

Однако на деле все произошло нормально. Только Володя сделал как раз обратное тому, чего так опасался: он настолько боялся повиснуть на хвосте самолета, что все мы подумали, не испортился ли у него парашют, — так долго не раскрывался его зонтик.

Несмотря на волнение, я не мог отделаться от своей манеры следить за людьми. Сияясь угадать их ощущения, я переводил глаза с одного товарища на другого, и несколько раз мой взгляд останавливался на широкой и спокойной спине летчика, который водил самолет кругами над площадкой лагеря. Что-то в этой спокойной и мужественной спине привлекало меня, и я возвращался к ней взглядом еще и еще раз. Мне хотелось увидеть лицо летчика. И в тот самый момент, как инструктор приказал мне приготовиться, командир корабля оглянулся.

— Шеген! — крикнул я.

В реве мотора мой голос, конечно, ему не был слышен, но взгляды наши встретились, и он чуть заметно приветственно двинул бровями.

Эта встреча заставила меня позабыть волнение, с которым думал я о прыжке. Сейчас во мне жили только радость, желание по-старому крепко обняться с другом и досада на то, что я не могу сказать хоть одно из тех тысяч горячих слов, какие родились в моей голове.

Смелым прыжком с самолета я решил рапортовать своему другу о пройденном мной без него пути. Говорят, что присутствие любимой женщины рождает в мужчине отвагу и решимость. Нет, никакая женщина в мире не могла бы вызвать во мне большее желание доказать свое мужество. Я легко оторвался от самолета.

— Как Сокол с утеса! — без лишней скромности выкрикнул я во все горло, благо никто вокруг не мог меня слышать.

Надо мной было небо, далеко внизу — земля.

— Как Сокол! — еще и еще раз с восторгом кричал я, опускаясь на луг возле наших палаток.

Володя Толстов бежал уже ко мне.

— Красота-а! — во всю глотку одобрил он, радостный и счастливый.

Я рвался к Шегену и тотчас помчался к футбольному полю, где должен был приземлиться самолет. Вот он, тяжелый и сильный, прошел над моей головой, вот коснулся земли колесами, подпрыгнул и покатился по ровному лугу к опушке.

Но я не успел добежать до Шегена: инструктор спешил нам навстречу. Мы выстроились у края площадки для разбора сделанных нами прыжков. Лейтенант, командир взвода, следивший за каждым из нас с земли,

подходил к нам, всем видом своим выражая одобрение.

Я знал, что спустился красиво и точно, и ждал похвалы, но мне хотелось, чтобы Шеген услышал, как командир назовет мое имя и как я выкрикну: «Служу Советскому Союзу!» Ожидая, что Шеген вот-вот покажется в люке, я все время посматривал на самолет, но он вдруг вздрогнул, помчался по полю мимо нас со все возрастающей скоростью, отделился от земли, качнулся и поплыл к небу.

«Шеген! — кричало вслед ему, в небо, мое сердце. — Шеген! Куда же ты? Стой! Вернись!»

Но самолет покружил над нами, качнул крылом и скрылся за деревьями.

Вечером Шеген все же разыскал меня в палатке клуба. Уже капитан! Он стоял у входа в палатку, спокойный, широкий, красивый.

Дружески протянув мне руку, он твердым пожатием предупредил возможную с моей стороны ребяческую выходку. Пока я растерянно подыскивал подходящие слова, он успел познакомиться с остальными и весело поздравил всех нас с первым прыжком с самолета.

Вот мы сидим уже рядом с ним на скамье у покрытого кумачом стола. Он рассеянно перелистывает замусоленный номер «Крокодила», а я улыбаюсь в некотором замешательстве. Я понимаю, что улыбка моя может казаться глупой. На нас смотрят мои товарищи, им кажется интересной встреча двух давних друзей. Но даже сознание того, что я являюсь объектом общего внимания, не помогает мне преодолеть смущение. Сколько поэм и повестей хранил я в душе для встречи с Шегеном, какими мыслями мне надо было с ним поделиться! Но в моем сердце где-то образовался затор, и я не могу начать. Все, что приходит на ум, относится к слишком давнему времени и кажется до того наивным и детским, что даже стыдно делиться этим с Шегеном. Оказалось, все мои сбережения состояли из каких-то ребяческих мечтаний и воспоминаний детства, недостойных внимания взрослого человека, каким снова по сравнению со мной оказался Шеген. Именно это и вызвало мою нелепую улыбку, по-тому-то таким сухим получился мой рассказ о двухлетней службе в армии, о которой ему было уже известно из моих писем.

Прощаясь с Шегеном, я почувствовал, как его рука охватила мое плечо. Это было похоже на объятие, но оно не было таким, которое когда-то обоих нас так согревало.

— Не смущайся, Костя. Твое молчание говорит лишь о том, что оба мы выросли. Новое еще не накопилось, а старое слишком уж пахнет детством. Не так ли? Но для меня все то, что пережито тобой за эти два года, и есть

самое интересное, — сказал мне на прощание Шеген. — Завтра выходной — встретимся и потолкуем подробней. Съездим в город, в театр. После первого прыжка я устрою тебе день культурного отдыха.

— Я получил благодарность за первый прыжок, — похвалился я.

— Я следил за твоим прыжком, — серьезно ответил Шеген. — Такого десантника противник пять раз расстреляет в воздухе. Ты красуешься в воздухе, Костя, а тут не балет — надо падать быстро.

Шеген ушел, а в моей душе что-то ныло всю ночь. Мне было обидно, что встреча с другом прошла не по-прежнему. Почему я сам не посмел броситься ему на шею? Неужели. ничего из богатств нашего детства не стоит больше хранить?

Ведь я мог говорить с моим Мыколой целые ночи, и мы легко раскрывались друг перед другом, хотя общего детства у нас не было. Может быть, нас и сблизило именно то, что мы разделяли с ним взрослую жизнь и опасности пограничной службы. Я говорил ему о своей Акботе, а он о своей любви к девушке Майе.

Но как только мысль моя коснулась любви, я испугался: ведь Акбота — еще более отдаленное детство, чем Шеген. Неужели я так ревниво оберегаю лишь ее детский образ и память о своем детском чувстве?

Нет, тут совсем другое, постоянное, незываемое.

Эта мысль меня успокоила, и я погрузился в сон, решив, что открою Шегену тайну своей любви, о которой ему еще никогда не писал.

## IV

Безоблачный радостный день начался веселой песней. Это было воскресенье, и те, кто не брал увольнительной в город, готовились провести выходной день на море, куда от нас нужно было около часа ехать поездом. Солнце сегодня грозило быть знойным. Медвяный запах цветов испарился вместе с росой и успел наполнить томительной негой это летнее утро.

Мы только что разошлись по палаткам и принялись чиститься и бриться. Я старался особенно — ведь мне предстояло идти по городу с капитаном!

Вдруг по лагерю раздался сигнал тревоги.

— Вот, черт возьми, нашли время! — выкрикнул кто-то из курсантов.

— Пропал выходной! — сокрушенно вздохнул второй, бросив в тумбочку сапожную щетку и торопливо затягивая ремень.

Тревоги в последнее время у нас стали повседневным явлением. Это было, как говорили, обычным завершением курса учебы. Мы привыкли к тревогам утренним, дневным и ночным, особенно досадным, если сигнал тревоги раздавался спустя полчаса после вечернего отбоя.

Но в выходной тревог еще не бывало.

С невольной поспешностью мы мчимся на построение, на линейку, проверяем друг у друга заправку, одергиваем пояса. Каждому хочется, чтобы эта игра закончилась поскорее.

— Первый, второй, первый, второй... — катился справа налево разноголосый поток расчета.

— Направ-во! — отчетливо и браво командует взводный.

Нас сводят всех вместе на спортплощадке, весь батальон. Строясь, слышим трубный сигнал тревоги в соседнем лагере артиллеристов, в горах, в двух километрах от нас. Над головами с ревом проносятся самолеты с ближнего аэродрома. Вот прошел наш вчерашний... Мне кажется, что я вижу Шегена, но вслед за ним проплывают такие же могучие корабли — четыре, шесть, девять. С воём летят истребители.

— Смирно! Равняйся!

Командир наших курсов майор Демкин и комиссар Сомов, возбужденные, проходят по строю, взбираются на спортивную судейскую вышку.

И сквозь рев еще одной проносящейся над лагерем эскадрильи



бомбардировщиков грохотом взорвавшейся бомбы обрушились слова комиссара о том, что сегодня в ночь фашисты зверски бомбили запад и юг нашей родины и что на западной границе в эти минуты уже идут ожесточенные бои.

Строй замер. Кроме биения собственного сердца каждый слышал еще биение сердца соседа.

Война!

И теперь уже другими глазами мы провожали мчащиеся к западу эскадрильи.

Прощай, мой Шеген! Счастливых удач и скорой победы, мой друг Шеген!

Только вчера в нашей палатке мы все дружно доказывали несуществующему оппоненту, что в ближайшее время и нас не минует участие в битвах. А сегодня, когда уже сказано слово «война», мы никак не можем поверить в то, что она началась.

В первые часы мы с трудом ощущали реальность происходящего.

Но вот из репродуктора раздался голос, который мужественно и уверенно произнес слова о войне и о грядущей победе.

Теперь мы все поверили.

После этой речи наши лица стали уже не удивленными, а суровыми. Каждый чувствовал, что созрел для боя, но каждому из нас хотелось еще убедиться, насколько готовы друзья, и потому глаза каждого строго осматривали всех.

Я полагаю, что думы мои в этот час не отличались от дум других солдат: я размышлял, какое место отведут лично мне в великом строю Красной Армии надвинувшиеся события.

Величественно прозвучала присяга, которую мы произносили, проникая в смысл каждого слова.

Через час я вместе с другими товарищами мчался в грузовике по петляющей асфальтированной горной дороге в распоряжение соединения, для которого нас готовили.

Я так свыкся на переправе с неумолкаемым ревом моторов, криком автомобильных гудков, с сумятицей споров и хриплых выкриков, что, сделав всего сто шагов от дороги, сразу ощутил тишину. Освобожденный от привычного хаоса звуков, слух начал улавливать и ворчливое течение реки, и дыхание прибрежного леса, и жалобное мяуканье какой-то осиротелой кошки. Вот на той стороне реки, предупреждая о близком рассвете, протяжно, как в мирное время, крикнул петух, и тотчас же где-то рядом раздался ответный крик горластого петуха с какого-то воза.

Проваливаясь в темноте в ямы и окопы, спотыкаясь о вывороченные с корнем деревья, я ищу в лесу двух раненых товарищей, укрытых в глубокой воронке от авиабомбы.

Нет, в первые дни войны мы попали совсем не туда, куда ожидали попасть, и воюем не так, как думали.

На наших курсах я вместе с другими товарищами считал, что нас готовят для самых первых активных схваток грудь с грудью с врагом, который посмел бы переступить рубеж нашей родины. Мы ждали, что должны будем ринуться в бой в первый же день, в первый час, в первый миг смертельной битвы. Так думал каждый из наших бойцов. Но враг наступал, он нагло топтал нашу землю, а мы все несли тыловую службу.

Вот и сейчас уже вторые сутки вместо кровавой битвы и подвига мы все силы свои направляем на сохранение порядка на одном из безвестных мостов затерявшейся в приазовских равнинах реки.

Мы боремся за самые простые и бесспорные вещи — за очередность переправы и недопущение пробок при переезде и переходе моста. Эта будничная работа уподобляет нас милиционерам-регулирующим уличного движения. Где же тут героизм или случай для подвига!

Но все же полковник Озимин был прав, утешая всех нас и говоря, что в эти дни на всем фронте не будет более тяжелого участка, чем на этом безвестном мостике.

Нас здесь всего одно отделение бойцов, а через мост текут тысячи людей. Сколько тысяч перешло на ту сторону прошлой ночью, столько же заново накопилось здесь к вечеру опять.

Сейчас я считаюсь начальником переправы. Сначала им был лейтенант Горкин, командир нашего взвода разведки. Вчера на вечерней заре, когда мы уже не ждали нового налета фашистов, три фашистских

бомбардировщика сбросили бомбы на скопление машин и людей у моста. Одна из бомб разорвалась невдалеке от моста, у самого берега. Лейтенант был отброшен взрывной волной к одной из машин. Он быстро поднялся и энергично крикнул какому-то шоферу:

— Назад!

— Товарищ лейтенант, вы не ранены? — спросил я, как обычно каждый из нас спрашивает, когда проходит мгновение сильной опасности.

Лейтенант лишь махнул рукой и продолжал командовать переправой. Его сиплый, давно уже осевший, но все еще громкий голос раздавался почти до полуночи, но вдруг на полуслове оборвался, и наш командир, бессильно склоняясь на крыло грузовика, начал падать. Я подхватил его. Моя рука ощутила под плащ-палаткой липкую массу крови, которая пропитала уже и белье и гимнастерку.

Он застонал.

— Принимай командование, Сарталеев, — успел он сказать, прежде чем потерял сознание.

Мы укрыли его в воронке. Я сразу хотел эвакуировать его с переправы, но он отказался, хотя спина его была полна мелких осколков, а плечо было сильно рассечено. Мы отправили в течение ночи десятки раненых, а он все отказывался покинуть переправу. Иногда он впадал в забытие, но, приходя в сознание, заботливо спрашивал, как я справляюсь с делом, как идет переправа, и помогал указаниями.

Сегодня под вечер он осунулся так, что стал похож на мертвеца, и лежал неподвижно. Я стал уговаривать его переправиться. Врач санобоза приходил к нему два раза, предлагая заранее перенести его на машину. Он отказался, сказав, что умрет там от жары, а в лесу, в воронке, прохладней и легче. И вот сейчас перед самым мостом очутилась машина, в которой он через два-три часа может быть доставлен на санпоезд. Заметив ее в обозе у переправы, я кинулся за своим командиром.

Я сам перенес лейтенанта Горкина, а товарищи — еще одного бойца, раненного осколком в колено. Теперь я, сержант, остался единственным командиром. Я послал в штаб связного доложить о ранении лейтенанта. В рапорте я подписался начальником переправы и сам поймал себя на мальчишеской гордости этой подписью. Но начальником приходится быть не шутя: едва отвернешься, шоферы прорывают нашу заставу и мчатся, грозя сокрушить самый мост. Сокрушить — это, может быть, сказано сильно, но создать солидную пробку — наверняка. Даже старшие командиры порой не думают о порядке, стараясь в первую очередь вырвать свою увязшую воинскую часть.

— Ты понимаешь, сержант, что значит правильная организация отступления? — кричит мне какой-то хмурый небритый артиллерийский майор в накинутаой на одно плечо плащ-палатке. — Это залог наступления! Сохранение техники прежде всего! Приказываю тебе в первую очередь пропустить мою часть! — Он указывает на машины, врезающиеся сбоку в движение всей колонны.

Я вижу его воинскую часть, растянувшуюся вдоль дороги. Ее орудия, тракторы и грузовики с боеприпасами, замаскированные целыми деревцами и поэтому очень похожие на длинную цепь лесонасаждений, кончаются где-то за холмами. А здесь, перед самым мостом, тоже сгрудились танкетки, орудия, автомашины, тракторы, сбились в кучу припертые к мосту конные обозы, и все это вместе угрожает создать невообразимую кашу. Наша задача в том и состоит, чтобы не дать им спутаться в плотный клубок, не допустить заторов.

— Не могу, товарищ майор. Отойдите с дороги.

Я открываю путь санитарной машине, увозящей нашего лейтенанта, и несколькими пароконным подводам с ранеными бойцами. Раздраженный майор, видимо убедившись в моей правоте, отходит в сторону и, искоса взглядывая на мост, бранится и скручивает сигарку.

Я понимаю всю важность требования майора. Я и сам считаю необходимым в первую очередь пропустить его боевую технику. Но если дать им ворваться с фланга, все смешается. Я бы рад пропустить все машины сразу и даже вон ту старушку, сидящую возле опушки рощи на арбе, запряженной голубоватыми волами. Я еще с вечера видел, что она машет корявой рукой в мою сторону, но я точно знаю, что за эти сутки она ни на шаг не приблизилась к мосту и даже вынуждена была податься назад, оттесненная массой подвод.

Если бы на нас не наваливался весь этот многоголосый рев войны, если бы люди соблюдали порядок, который всегда соблюдался ими же в обычной жизни, если бы все машины шли так же спокойно, как тот десяток санитарных повозок, который переправляется в эту минуту, тогда я в первую очередь пропустил бы, конечно, майора — представителя «бога войны». У меня нашлось бы достаточно сердечного участия открыть дорогу и этой покорной, безропотной старушке...

Затор лишь на мгновение рассосался. Кончик клубка едва начал разматываться, как, обрадованные движением у моста, водители машин, ездовые конных повозок и пешеходы снова бурно рванулись к тесной предмостной площадке, которую с таким упорством отстаивают бойцы нашего отделения.

Угроза затора опять нависла над всем многотысячным скопищем.

Бойцы моего отделения под напором ревущих машин были вынуждены отступить ближе к мосту. Наша «сортировочная» предмостная площадка сократилась на целых два метра.

— Товарищ Толстов, ни шагу назад! — скомандовал я, заметив, что Володя глубже других отступил к реке.

— Стой! — выкрикнул Володя водителю.

Машина остановилась, глухо ворча еще включенным мотором. Вслед за ней остановились и другие машины.

Надо было мгновенно и правильно решить задачу, как выдернуть кончик клубка, чтобы он разматывался спокойно.

Я знал, что отступающие части направляются занимать оборону у Таганрога. В первую очередь надо было пропускать именно тех, кто двигался на Таганрог, но приходилось по временам отдавать предпочтение быкам и телегам с домашним скарбом гражданского населения перед пушками и танкетками, чтобы скорее открыть дорогу этим же пушкам и танкеткам.

Когда я взглядом диспетчера окидывал ближайшую к мосту путаницу, где-то вблизи внезапно раздались такие странные для этой обстановки звуки, что в первый момент я просто не поверил собственным ушам. Может быть, даже не восприняв слухом, скорее по лицам людей, по их потеплевшим глазам я догадался, что это не сон, что я в самом деле слышу простой, привычный, знакомый мотив:

Нам песня строить и жить помогает,  
Она, как друг, и зовет и ведет...

Этот напев звучал, покрывая рев моторов и гудки машин. Было непонятно, как такой слабый звук может одолеть тысячеголосый гул моторов, но тем не менее все перед ним утихало и покорялось. Оглянувшись, я увидел прижатый к берегу грузовик и на нем группу чернобровых украинских девушек-студенток, водрузивших патефон на груди своих корзинок и чемоданов.

Найдя решение, я молча указал рукой путь одной из стоявших возле моста машин. Ее водитель дал газ, и движение по мосту вдруг обрело спокойный, упорядоченный облик. Однако откуда-то из конца колонны уже раздавался опять нарастающий, приближающийся, угрожающий рокот сотен моторов.

— Товарищ майор, помогите сдержать напор! — крикнул я артиллерийскому майору.

Майор кинул на меня понимающий и явно одобрительный взгляд и стал рядом со мной на площадке.

— Давай-ка, товарищ сержант, метрах в пятидесяти впереди поставим еще одну цепь бойцов. Я пошлю своих автоматчиков, — по-товарищески, как равному, сказал он.

Он свернул новую сигарку и собрался закурить, но вдруг передумал и сунул ее мне в рот.

— Покури, — сказал он, поднося зажигалку. — Устал?

Мера, принятая майором, сразу сказала на движении: машины пошли ровнее по середине моста, по краям бесконечными вереницами потянулись части усталой пехоты и беженцы с узлами домашней рухляди.

Посветлевший восток предупреждал о том, что скоро должны прилететь фашистские разведчики, и надо быстрее пропускать воинские части, а там весь день придется возиться с эвакуацией населения.

Река начала обретать металлический блеск. По степи подуло прохладным предутренним ветерком, и темный воздух стал терять густую ночную плотность. На востоке зажглись золотистые облака.

Майор, стоявший теперь со мной рядом, заметил, что скоро настанет утро и что военным машинам пора уходить маскироваться в ущелье. Я переглянулся с ним, угадав его несложную хитрость: майор рассчитывал протолкнуть свою часть в последний момент перед неминуемым налетом вражеской авиации.

Вот уже двое суток подряд она не давала покоя мосту с рассвета до сумерек. Однако поставленная в овраге зенитная батарея и расположенные в кустах зенитные пулеметы не позволяли противнику снизиться для бомбежки, а с большой высоты такая мишень, как мост, была не легко уловима. Налет авиации был опаснее для людей и техники на дороге возле моста. Днем мы вели переправу совсем по-другому, расставляя регулировщиков по овражкам у деревень и пропуская урывками между вражескими налетами лишь небольшие группы машин и людей.

Едва майор успел сделать свое предупреждение, как послышался первый рокот фашистских самолетов.

— Воздух! Воздух! — послышались возгласы.

Появилось звено легких фашистских бомбардировщиков, круто спускавшихся влево от нас, как санки с горы, и старавшихся найти переправу.

Дружно затрещали с холмов зенитные пулеметы, и сотрясающим

громом ударила за рекой в овраге батарея зенитных орудий.

Машины без всяких приказов вдруг покатались с дороги в разные стороны маскироваться. Рассыпались в стороны пехотинцы, кучками побежали женщины. Дорога почти опустела, и только замаскированные целыми деревцами машины артполка, которыми командовал майор, спокойно подтянулись ближе к мосту, освободившись наконец от вклинившихся в их колонну чужих машин и повозок.

Солнце еще не показалось, и в бледном рассветном освещении самолеты не могли увидеть переправы, но, ориентируясь, очевидно, по изгибам речки, они все же решили сбросить свой груз наугад. Ударили первые взрывы, и два столба воды высоко взметнулись над речкой. Снова взвизгнула падающая бомба и разорвалась по ту сторону переправы, далеко от дороги. Мы с майором лежали в окопчике, рядом с мостом. Одна из бомб угодила в покинутую жителями деревню на той стороне реки. Поднялся сразу столб пламени, — вероятно, вспыхнула солома. наконец еще две фугаски упали вблизи холма, где стоял зенитный пулемет. Я тревожно приподнялся из окопа, желая увидеть, что там творится. Но зенитчики тотчас оповестили нас треском пулеметных очередей о полном своем благополучии. Искры разрывов вспыхивали вокруг самолетов, рождая легонькие дымки и не давая противнику снизиться. Сделав еще два круга над самой переправой, стервятники повернули на запад и быстро исчезли в вышине.

Артполк рванулся к мосту и двинулся всей колонной машин и орудий в спокойном походном строю. Все понимали, что надо спешить, что вот-вот вслед за разведчиками появится эскадрилья тяжелых фашистских бомбардировщиков. Тогда придется уже прекратить все движение.

Мои бойцы, выскочив из щелей укрытия, заняли оборону подальше от моста, обеспечивая себе более просторную площадку для сортировки.

Передние машины артполка уже перевалили через ближайший холм на той стороне реки, когда вслед за его последними грузовиками мягко подъехала легковая. Младший лейтенант с мальчишески оттопыренными ушами открыл дверцу, приглашая командира войти.

Майор поглядел мне прямо в глаза и, лукаво улыбаясь, сказал:

— До свидания, сержант... Как увидимся, я тебе отомщу...

Машина майора плавно покатила, обгоняя полк, а навстречу ей брызнули первые солнечные лучи, озаряя степь и сверкнув по стеклам машин, заторопившихся к переправе из рощицы и других укрытий. Мы быстро пропускали их.

— Воздух! — раздалась опять возгласы.

Я стал искать в небе причину тревоги и тотчас узнал вчерашний наш «ястребок», круживший над нами в перерывах бомбежки. Кто-то вчера высказывал предположение, что он охраняет расположенный невдалеке аэродром.

Поток машин и орудий равномерно катился через мост.

Знакомая мне старушка сидела на своей нескладной арбе в той же позе, что и вчера. Волы ее мирно лежали и жевали свою жвачку. Я подумал, что если бомбежки долго не будет, я попытаюсь пропустить старушку и грузовик чернобровых девушек с патефоном.

Ко мне подошел Володя.

— На, откуси, — сказал он и сунул мне в рот конец уже откушенной колбасы, зажатой в черной от грязи руке.

— Речка рядом. Ты б руки помыл! — сказал я, откусив кусок и только теперь ощутив, что давно уже голоден.

— Майор оставил нам целый воз. Живи, не тужи! — пояснил Володя, подавая другой рукой кусок хлеба.

Так мы и ели, поочередно меняясь нашими нежданнами богатствами: то он — хлеб, а я — колбасу, то я хлеб, он — колбасу. Заметив это, мы расхохотались.

Я оглянулся. Остальные ребята тоже жевали. Спокойное движение шин — это был наш отдых. Но завтрак был недолг: наш «ястребок» вдруг взревел, нырнул вниз и, выровнявшись, почти бреющим полетом над самой переправой ринулся на восток. По вчерашнему опыту можно было с уверенностью сказать, что это означает налет фашистов. Еще не видя самолетов, но совершенно убежденный в том, что они тотчас появятся, я выкрикнул:

— Воздух!

Мой крик подхватили везде по дороге и в стороне по кустам. Наши просигнализировали машинам, вышедшим на дорогу, и те проползли назад, под кусты и деревья. Послышался завывающий гул моторов, и тяжелые немецкие машины навалились на дорогу. Столбы воды и земли, обломки машин, тучи дыма взлетели по всей равнине, но жарче всего было здесь, у моста: пролетая над переправой, каждый самолет словно клевал ее и ронял свистящие бомбы. Все вокруг переправы стонало, визжало и выло. В черном буряне дыма и пыли, в грохоте взрывов тусклым маленьким красным блюдцем появилось за краем холма солнце. Этот грохот и вой словно раздавил и прижал к земле все живое, разом проникая в человека. Казалось, что слышишь его и ушами, и ртом, и даже подошвами сапог.

Голова моя оказалась плотно прижатой к углу окопа, а тело не то



дрожало, не то гудело вместе со всей землей. Это был миг, когда, охваченный не испытанным до сих пор физическим оцепенением, не столько чувствуешь сердцем страх, сколько с удивлением изучаешь его, как некое чужеродное тело, впившееся в твое существо.

С невероятным усилием я вырвал свою голову из угла окопа и увидел Володю. Он сидел, прижавшись спиной к стенке, и следил за происходящим наверху. Мы понимающе переглянулись и улыбнулись.

— Спина у тебя гудит? — спросил он меня.

— Поет, сатана!

— А меня, братцы, просто тошнит, — откликнулся двухметровый великан Сема Зонин, рабочий из Сталинграда.

Обидней всего, что они так нагло могут кружиться над нами, так безнаказанно! Моторы непрерывно гудят и воют, то тут, то там поднимая столбы земли и облаков, а мы только молча ждем.

Кинувшись при первых разрывах бомб в щель, я увидел направляющуюся сюда же мою старуху. Она шла медленно и безразлично, словно по принуждению. Я помог ей спуститься в ровик.

Теперь, в момент затишья между взрывами, я слышал ее стон и кинулся к ней.

— Вы ранены, бабушка?

— Нет, голубчик, цела...

— Мне показалось, вы стонете.

— Сердце стонет, голубчик! — сказала она.

Я хотел утешить ее и сказать, что сегодня непременно пропущу ее на ту сторону, но смолчал.

Старческие глаза ее были устремлены на восток как бы с мольбой. Казалось, она не слышала этого рева и тихонько шептала. Я понял, что ею владел не страх за свою жизнь. Вдруг тусклый взор ее, заметив в небе что-то новое и примечательное, оживился. Я посмотрел в ту же сторону. Будто в ответ на ее мольбу, прямо на нас несся с востока серебряный «ястребок», а вот и второй, вот третий.

Передний из них стремительно ринулся в гущу фашистов. Взрывы вдруг поределели, в небе раздался короткий прерывистый треск пулеметных очередей. Мы не дыша следили за самолетами. Как огромный таракан, тяжелый, беспомощный, повисший распоротым животом на собственной кишке, падал вниз фашистский бомбардировщик, таща за собой струю дыма.

Я встретился со старушкой глазами. По желтым щекам ее обильно катились слезы. Она все уже поняла, но, чтобы увериться крепче, ей нужно

было услышать подтверждение.

— Упал-то немецкий? — спросила она меня.

— Немец, бабушка, немец! — воскликнул Володя.

Старушка перекрестилась.

Как серебряные молнии, реяли наши отважные «ястребки», то взмывая ввысь, то мелькая в резком падении, то снова взлетая. Но их еще было мало, и они тонули в гуще фашистских стай.

В ту пору для воздушных ударов у немцев руки еще были длиннее наших.

## VI

В то же утро нашей переправы не стало. Через час после первой бомбежки прилетели еще три эскадрильи немецких бомбардировщиков, сожгли и разбили мост.

Дорога почти опустела. Все повернули на север: искать переправы в верховьях. Время от времени подходят машины, больше гражданские, конные обозы — и круто сворачивают вдоль реки в поисках места для переправы.

Над сожженным мостом нагло кружится немецкий разведчик — «горбыль», очевидно фотографируя разрушенную переправу.

В глубокой воронке, где вчера лежал лейтенант Горкин, спят трое из моих уцелевших бойцов. Двоих я послал в разведку установить, далеко ли немецкие части, одного отправил связным в штаб сообщить об уничтожении переправы и просить саперную или понтонную часть для восстановления моста.

Я жду возвращения своих бойцов.

Медленно в этой непривычной тишине ползут стрелки на часах.

«Так вот какая на самом деле война! — возникает в голове мысль. — Сколько у нее еще не изведанных мной тайн, сколько у нее трудной будничной работы для солдата!»

«Тяжесть мыслей вниз клонит твою голову, товарищ сержант!» — как будто слышу я обычную шутку Володи Толстова, который любил пародировать мои тяжеловатые русские обороты.

Вокруг так тихо, что хочется крикнуть, чтобы нарушить эту гнетущую тишину. Откуда-то издалека доносятся глухие раскаты взрывов, а здесь все в мертвом покое: растоптанные и вянущие цветы, вырванные с корнем деревья, едва шелестящие листвой, одинокий крик потерявшей гнездо птицы, глухой стон раненой девушки, лежащей под кустом в сотне шагов от нас, — все это гнетет, но означает затишье.

Ветер доносит запах пожаров.

Я оглядываюсь на дорогу, по обочинам которой лежат разбитые машины, гляжу на развороченную землю и отчетливо слышу стоны умирающей девушки.

Мне невольно вспоминается веселая песня, которую я вчера слышал с ее грузовика:

...и тот, кто с песней по жизни шагает...

Нет, не эту, — хочется другой, более суровой песни. Мои ребята, усталые, обросшие щетиной, непривычно грязные, пропахшие кислым потом, запахом гари и порохом, заснули тотчас, как только отдали последнюю почесть павшим товарищам. Измученные, трогательные, как усталые дети, они уснули в самых неудобных позах. Один из них очень громко храпит, и это мне даже нравится: это заставляет думать о его безмятежности и силе. Какими бесстрашными были эти ребята на переправе и какими беспомощными кажутся они сейчас! Они спят беспокойно и трудно, но я боюсь, как бы они не вовлекли и меня в соблазн, с которым я боролся несколько суток подряд.

Чтобы не заснуть, я ищу какое-нибудь занятие. Рука потянулась за последним письмом матери, надежно спрятанным в кармане гимнастерки вместе с комсомольским билетом.

Это письмо я знаю почти наизусть, но все-таки еще раз его прочитываю. Мать тоскует. Мой старший брат тоже призван и где-то воюет с фашистами. Не выдержав одиночества, она вернулась из Гурьева в Кайракты — и не узнала родного аула: теперь здесь был сильный и богатый колхоз. Но тоска по мне мучит ее. Мать пишет, что прибежала бы ко мне так же легко, как когда-то приехала в деткоммуну, когда стосковалась по мне. Но она не знает, что это за город с длинным номером и единственной буквой в конце, откуда я ей пишу. Далекий ли он? В горах или в ковыльной степи? Поездом ехать ко мне или достаточно попросить у председателя пару колхозных рысаков, чтобы найти сына?

Я вижу ее у изголовья своей кровати в светлой комнате уральской деткоммуны, чувствую ее дыхание, материнский родной запах. Ее грубые рабочие пальцы ласково гладят мою голову, она целует меня сперва в лоб, а потом всего: ей все равно — лоб, нос, глаза, руки или ноги. Проснувшись, я тогда не открыл глаз. Я считал себя уже взрослым, мне неудобно было с открытыми глазами ласкаться к матери, как ребенку, и я с неописуемым блаженством прильнул к ее груди, к такой уютной груди, с четко и радостно бьющимся сердцем.

«Какой же ты стал большой, мой Кайруш!» — так сказала бы она мне и сейчас.

Высшая радость матери — любоваться на выросшего птенца, и она ходит и кружит вокруг меня, хлопочет, как наседка. Для нее я все тот же малыш, все тот же Кайруш, который когда-то убежал в город. А паренек

рос, время от времени она навещала его, целовала, удивляясь быстрому росту, но в разлуке всегда вспоминала меня таким, каким я ушел в город.

Легкий треск сучьев за спиной вырвал меня из материнских объятий. Я очнулся.

Ко мне подошла наша старушка.

— Моста-то уж нету, — сказала она, не то спрашивая меня, не то выражая свое сочувствие. — Вишь ведь, затихло... А там все долбит и долбит! — указала она куда-то на запад, откуда слышались звуки бомбежки.

Я обрадовался, что она уцелела и просто, по-матерински, пришла к нам сказать несколько слов.

— Где ваши быки? — спросил я ее, не найдя ничего лучшего для разговора.

— Целы, сыночек, целы! — отозвалась она. — Не все же ему, окаянному, одолеть... И курочки целы остались. — И она протянула мне три тепленьких яичка. — Три снеслись, а четвертая поленилась, бесстыдница!

Я разбудил бойцов. Продуктов у нас было много, бабушку мы тоже угостили.

Возвратились наши разведчики, и Володя Толстов, вытянувшись передо мной по уставу и отдавая приветствие, доложил, что задание выполнил.

С гордостью он сообщил, что не только узнал расположение немцев, но видел их сам, своими глазами. Это было первым военным делом Володи. Он видел врага в лицо. Его серые глаза горели синеватым блеском.

Он, припрятав обмундирование, смешался с толпой беженцев, притворился хромым и слепым. Оставаясь невидимым, смотрел на немецкий поток, катящийся на плечах гражданского населения.

— Ну и как они? — спросил я, с завистью глядя в его смелые глаза, повидавшие то, чего еще не видели мои.

— Хамье и бандиты, — ответил Володя. — Ты видел царских урядников?

— Нет. А ты разве видел?

— Ну мало ли что не видел, я и так знаю... Танков масса, машины катят по дорогам. Пехота не ходит, а ездит, а с людьми обращаются хуже, чем с собаками.

— Ругатели, обдиралы? — спросила старуха.

— Еще того хуже! — ответил Володя, и вдруг лихой его тон куда-то исчез, голос дрогнул. — Собаки, сволочи, свиньи! — воскликнул он. —

Женщин, детей гонят, как скот, бьют сапогами... а ты, разведчик, терпи! Тебя обучали все видеть и словно не видеть, ничему не удивляться, держать себя в руках... Вот ты попробуй на деле держать себя в руках, когда они будут зверствовать у тебя на глазах... Попробуй-ка сам...

— Ну и что? — спросил я, положив ему на плечо руку. Я понял без слов, что случилось.

— Ну вот... — сказал он, достав из кармана какой-то желтый бумажник, которого я никогда у него не видал.

Все с любопытством склонились над бумагами, когда я их стал развертывать. Прежде всего мы увидели бравого молодца в пилотке и с усиками, глядевшего с фотографии самодовольно и нагло. Потом, разбирая текст, я прочитал: «Капитано Альберто-Николо-Пьетро Карини».

— Он итальянец, должно быть, — сказал я.

— Он был просто сволочь без всякой нации, просто фашистский палач и... насильник...

— Чем же ты его?

— Просто так — кулаком и за глотку... — Володя в волнении умолк.

Мы смотрели на нашего дорогого, на нашего самого молодого друга с нескрываемым восхищением и уважением.

— Отплатил ему, значит, за женские слезы? — спросила и старушка, внезапно вмешавшись. Она материнским движением погладила по плечу Володю.

— Тебе придется, Володя, явиться с этим бумажником в штаб. Может быть, важно знать, что на нашем участке итальянцы, — сказал я, перебирая фотографии женщин, письма, какие-то документы.

— Ну и что же, я вплавь, — сказал Володя.

Второй разведчик, Сережа, глядел на товарища с завистью: он ходил не так далеко, как Володя, и ограничился расспросами беженцев.

— Давай закуси, да и пойдешь! — сказал я Володе.

— Я так, — возразил он, вставая с травы.

— Товарищ Толстов, я вам приказал закусить, — по-командирски официально потребовал я.

— Есть закусить, товарищ сержант, — ответил Володя.

Пока мы говорили, наступили глубокие сумерки, и тотчас одна за другой по дороге стали сходить машины к бывшему мосту.

— Эй, товарищи, где же теперь переправа? — крикнул один из водителей, направляясь к нам.

— Тю-тю переправа! — пошутил Сергей. — Придется вам снять штаны и отправиться вплавь.

— Ну, брат, врешь. Шутки плохие, ребята, у вас... А брод не искали? — спросил водитель.

— Места тут глубокие. Кто же его знает, где может быть брод! — ответил я.

Я знал, что на этом берегу осталось немало людей, лошадей и машин. Брод был бы для них спасением жизни и чести. Брод был бы спасением от насилий и для той части гражданского населения, которая не успела уйти от фашистов.

— Кто его знает, как нынешним летом Захаровский брод-то? — сказала внезапно старуха. — Туда, зная, придется!

— Какой, бабушка, брод? — оживились мы все.

— А Захаровский брод. Суконщики были Захаровы, слышал? Фабрика тут верст пятнадцать подале стояла. В гражданскую войну он, окаянный, ее пожег, чтоб народу не дать, а сам убежал к англичанцам. У него управляющий был англичанин, на старшенькой дочке, на Кате, женатый; она уже потом-то не Катенькой стала, а Китей...

— Ну, так что?

— Фабричка-то тут стояла, а шерсть мыли на той стороне: мой покойник смолоду там работал. И брод был устроен. Захаров сам от постройки не отходил. Лето целое камни возили на дно речки, потом и песочком его затянуло...

Шофер хотел взять с собой бабку в машину, но она отказалась расстаться с волами. Вокруг старухи собрались командиры скопившихся подразделений и частей, расспрашивали ее, как узнать брод.

— А что же вы, бабушка, сидели здесь трое суток? — спросил я ее. — Почему не поехали через брод?

— Куда же я одна-то? Как люди! — простодушно сказала она.

Тракторы и танкетки затахтели вдоль берега, пробивая дорогу к броду через кустарники, луга и поля.

Стрельба из орудий слышалась ближе и ближе. Когда стемнело, мы увидели на западе словно бы отсветы Молний, раздирающих небо.

Мы помогли старухе запрячь ее быков и выехать на дорогу вместе со всеми.

Во мраке с той стороны реки от разрушенной переправы послышался оклик... Это наш связной вернулся из штаба. Он долго возился на том берегу, ворочая что-то тяжелое, и наконец мы увидели, как он оттолкнулся от берега и темный силуэт его стал приближаться к нам. Он стоял во весь рост, отталкиваясь шестом. Оказалось, что он плывет на днище кузова разбитого грузовика.

Он принес нам приказ возвратиться в распоряжение части, но прежде обследовать тот самый брод, о котором нам только что рассказала старуха. Оказалось, что в штабе узнали о нем раньше нас. На одной из попутных машин мы через десять минут догнали нашу бабушку, погонявшую своих волов. Она поцеловала на дорогу каждого, словно родного внука, особенно нежно и крепко обняв Володю.

— Хороший ты! Сердце хорошее у тебя, — сказала она. — Ну, прощайте, голубчики, путь вам счастливый, спасибо... Дай бог вам...

Мы вскочили в машину и понеслись.

Когда мы подъехали к броду, через него катились уже машины, тянулся колхозный скот и длинный обоз крестьянских телег, набитых ребятами и пожитками.

Земля вокруг гулко дрожала. С запада поднималось багровое зарево.



## VII

Я вошел в блиндаж нового командира взвода разведки, лейтенанта Мирошника. Пока он дописывал какое-то донесение, я по привычке старался разглядеть его и разгадать, что это за человек. Поплавок коптилки на столе перед ним плавал, как бакен на гладкой поверхности жирного озера. Огонек метался во все стороны, словно рвался улететь, и мешал разглядеть лицо лейтенанта. Забавно было наблюдать, как большие тени людей метались по стене по капризу этого блеклого огонька. Тень командира, широкоплечая и головастая, то поднималась до потолка, то пряталась позади своего владельца. Над коптилкой назойливо порхал золотистый полевой мотылек.

Командир сидел у стола, сооруженного из каких-то ящиков, заботливо укрытых для окопного уюта плащ-палаткой. Складно скроенный, смуглый, гладко выбритый, опрятный, с густыми, почти сходящимися на переносице темными бровями, он вызывал всем видом уважение бойцов. Я не люблю пронизывающих или колючих взглядов. Взгляд больших черных глаз лейтенанта Мирошника не вопрошал, не испытывал, а просто и безоговорочно выражал доверие.

— Ну, расскажите, товарищ сержант.

Я доложил командиру обо всем, что происходило в течение этих дней на порученной нам переправе, и о броне. Лейтенант внимательно слушал, и, как мне казалось, временами в глазах его проскальзывала искра едва заметной улыбки, вызываемой неправильными оборотами моей русской речи. А у меня, когда я хочу говорить красиво и правильно, всегда получается нескладно и сбивчиво.

— Садитесь, — сказал он мне в заключение, когда, одолев все сложные синтаксические преграды русского языка, я добрался до конца своего доклада.

Но сесть было не на что, и я, продолжая стоять, попросил выслушать бойца моего отделения Толстова.

— А что у него за особый доклад?

— Он ходил в разведку.

Володя волновался и говорил еще сбивчивей, хуже, чем я. Он доложил все, что видел, обрисовал в подробностях всю обстановку. Я боялся, что он совсем позабудет или из скромности не захочет сказать о фашистском капитане. Оно так и вышло: сказать об этом Володя не смог. Лицо его вдруг

изменилось, губы скривились и дрогнули, он замолчал на полуслове, вытащил из кармана желтый бумажник убитого им офицера и молча положил на стол.

Лейтенант тоже молча, внимательно посмотрел бумаги, обвел нас обоих взглядом, встал и, крепко пожав нам обоим руки, сказал:

— Пойдите отдохните, побрейтесь.

Я почувствовал и запомнил эту твердую сухощавую и доверчивую братскую руку.

— Что ж ты меня так подвел! — обидчиво сказал мне Володя, когда мы вышли от лейтенанта.

— Чем подвел?

— Сам знаешь, что я не умею докладывать. Что теперь получилось? Я путал, путал, а толком так ничего и не сумел сказать...

— Как же так не сумел? Ты доложил все, что мне рассказывал, даже больше.

— А о танках я не забыл?

— Успокойся, пожалуйста, ты не забыл ничего, — утешил я друга.

На рассвете мы все проснулись одновременно. Володя задал мне тот же вопрос, который я сам собирался задать ему.

— Ты что?

С тем же вопросом уставился на Сергея громадный Зонин, а Сергей — на него. Каждому из нас показалось, что сосед разбудил его неловким резким толчком.

Земля снова вздрогнула, и как бы в испуге мигнул огонек коптилки.

Из щелей наката на нас неторопливо сыпалась бурая пыль, — совсем так струится песок в больничных песочных часах. Но сон молодых усталых ребят был настолько крепок, что мы не слышали первого, видимо очень близкого, взрыва и ощутили только толчок. Я выскочил из блиндажа и увидел, что в нескольких местах темными и тяжелыми горбами на лес опускается вздыбленная земля.

Рев и грохот, смешанный с воем снарядов, приближался к нам. Немцы переносили огонь орудий, нащупывая цель.

Вот совсем недалеко ударом снаряда подняло черную рваную тучу земли и дыма, и только через минуту начали выступать очертания дуба, обнаженного взрывом, словно внезапная осень сдула его листву.

На этот раз фашисты обрабатывали нас не авиацией, а дальнобойными орудиями. Над лесом стоял вой урагана. Иногда с резким шорохом, подобным шуму птичьих крыльев, пролетали стаи осколков.

Я спустился обратно в блиндаж. Мы все затаились.

— Здравствуйте, товарищи! — услышали мы голос лейтенанта Мирошника и увидели на ступеньках его начищенные сапоги.

Командир пришел не один, а вместе с политруком Ревякиным. Мы встали. Неловко сутулясь, подпирая могучей спиной потолок блиндажа, стоял Зонин.

— Отдохнули? — спросил лейтенант.

— Отдохнули, товарищ лейтенант, — ответил я за всех.

Политрук Ревякин, знакомый нам всем с первых же дней войны, рассказал нам о боях в районе Смоленска, где немцы не только замедлили продвижение, а замерли на своих позициях и не могут ни на шаг двинуться дальше.

За несколько дней пребывания на переправе мы были оторваны от информации и сейчас жадно впитывали последние новости. Мы расспрашивали о продвижении немцев на всех направлениях. Фашистская армия представлялась мне четырехзубыми вилами, впившимися в тело нашей родной страны. Вот каждый из этих зубьев начал упираться во что-то твердое и непреодолимое, даже стал слегка гнуться.

За время нашей беседы артналет фашистов прекратился. Лейтенант Мирошник и наш политрук, построив весь взвод, повели нас в глубь леса. Там нас ждал командир дивизии. Плотный и коренастый, с седеющими висками и синими грустными, какими-то женскими глазами, он был окружен незнакомыми командирами, среди которых я сразу узнал артиллерийского майора с переправы. Тот доложил что-то коротко полковнику, пока мы стояли в ожидании после команды «смирно», затем откозырнул и ушел.

Полковник взглянул на нас и приказал сесть на траву.

— У многих из вас, кто еще не видел своими глазами немецкую армию, — медленно, с расстановкой начал он, — могут быть ложные представления о противнике. Но чтобы бороться с ним, надо его хорошо знать. У врага, бесспорно, пока перевес в технике. Это фашистская техника, техника агрессора. Она приспособлена к нападению...

Я посмотрел на Володю. В его глазах горел огонек гордости, казалось кричавшей, что он-то видел врага и первый из всей дивизии уже вступил в поединок и победил.

— Ну, так вот, — продолжал полковник. — Сейчас создаются группы для уничтожения этой техники. Мы будем действовать не только на фронте, но также и в тылу врага. На эти специальные группы возлагаются и задачи оперативной разведки.

С каждой фразой полковника круг деятельности этих групп в нашем

представлении становился все шире, принимал все более разнообразные формы. Полковник говорил обо всем этом, как о чем-то привычном, знакомом нам всем, и поэтому и нам все это показалось не столь уж сложным.

— Командиром первой группы назначаю старшего сержанта, испытанного и опытного товарища Боруна.

Мы всем взводом искали глазами этого опытного командира. Из наших рядов поднялся молодой боец с загорелым лицом, с блестящими серыми глазами. Он встал быстро и смело, но в глазах его явно светился вопрос: «Это я и есть тот самый опытный командир?»

— Командиром второй группы будет отличный разведчик, кадровый пограничник, старший сержант Сартаев.

Я удивился, сомневаясь: меня ли он назвал? Во взводе разведки мог оказаться мой однофамилец — татарин или узбек. К тому же я только сержант, а не старший сержант, как сказал полковник. Я, правда, тут же подумал, что командир дивизии не может помнить, кто сержант, а кто старший сержант. И чтобы не оказаться совсем в неловком положении, я сделал движение, как будто собрался встать.

— Сидите, сидите, товарищ старший сержант, — глядя прямо в глаза мне, сказал полковник.

Я убедился, что речь идет обо мне, и вскочил.

Затем наш политрук указал фамилии комсогов и парторгов. Комсогом моей группы был назначен Володя Толстов, чему я, понятно, обрадовался. Какое-то чувство подсказывало мне, что мы с Володей не случайно попали в ту же группу — один командиром, другой комсогом, но объяснить себе причину этого ощущения я не мог. Это я понял только тогда, когда после окончания беседы полковник собственной рукой приколот к гимнастерке медали «За отвагу» и мне и Володе.

И вдруг такими ничтожными показались мне разрывы немецких снарядов, громящих соседний лес! Что такое обстрел, когда мы все вместе готовим врагу верную гибель, когда мы его разгадали и знаем, что он силен только техникой, а мы убеждением, силой великой идеи и волей к победе?

К вечеру моя группа из девяти бойцов задержалась в расположении передних батарей ПТО, которые выдвинулись вперед, чтобы прямой наводкой бить врага, как только он высунет из-за холма свой бронированный лоб.

Мы остановились, чтобы далее двигаться в сумерках, так как за нашим передним краем могли находиться вражеские посты, которые тотчас заметили бы наше необычайное для тех дней движение на запад. Мы

ожидали друга разведчиков — темноты.

В расположении батарей ПТО, замаскированных между кустами, нам встретился старый знакомый, майор, — командир артполка, мелькнувший сегодня при нашей встрече с командиром дивизии.

Майор Петр Григорьевич Русаков поздравил меня и Володю с наградой и взглянул на новый треугольник, появившийся у меня на петлицах.

— А вас, товарищ старший сержант, еще и со званием поздравить? — воскликнул он, словно бы удивленный, но по дружескому лукавству его взгляда я понял, что он имел кое-какое отношение и к нашим медалям, и к моим треугольничкам на петлицах. — Не знал я, не знал! Я сказал бы полковнику, как ты мой полк не пускал к переправе! — шутил он.

Но сквозь его шутливый и бодрый тон все же сквозила тяжелая озабоченность. Было видно, что все в нем клокочет.

— Вы, ребята, смотрите получше, много ли там осталось наших людей, как идет поток эвакуированного населения. Все районы обстрела, по данным разведки, заняты мирным населением. Немцы движут свои колонны в их гуще. Ведь вот подлецы какие! Если бы не это, мы бы их дальнобойными били, а тут дожидайся, пока они сами наскочут на ПТО!

Действительно, несмотря на жестокие артналеты фашистов, наш «бог войны» хранил молчание. У нас было довольно боеприпасов. Артиллеристы могли бы громить захватчиков у переправ, разведывая их скопления при помощи авиации, но фашистские танки передвигались в многотысячных толпах бегущих от них же женщин с детьми, стариков и больных.

Уничтожение переправ тоже было не в наших интересах: многие наши части не успевали отходить. Их обгоняли быстроходные танковые колонны противника. Было отмечено несколько случаев, когда наши части переходили мосты и соединялись с фронтом уже после того, как по тем же мостам прошли первые части фашистов. И сейчас еще немало наших отдельных частей двигалось по дорогам бескрайних просторов: двигались параллельно с немцами, не соприкасаясь и не сталкиваясь с ними.

Пока мы беседовали, сгустились сумерки.

— Счастливо, товарищи, возвращайтесь живыми, — сердечно сказал майор Русаков и с шутливостью, ставшей привычной в обращении ко мне, добавил — Ты меня не пускал на восток, а вот я открываю тебе дорогу на запад... Иди! Желаю тебе в этот раз получить не медаль, а орден.

Припадая к кустам, к росистой холодной траве, мы направились навстречу гитлеровским бандитам.

## VIII

По шоссе еще двигались массы людей. Приазовье покинуло свои насиженные места и со всем скарбом шло на восток. К большаку со всех сторон текли по проселкам вереницы крестьянских телег и армейские обозы. Нам, кому нужно было спешить, пришлось свернуть в сторону от дороги и пробираться по рощицам, по полям, по садам; кустарниками и перелесками мы спрямляли путь.

Движение разведчика не может протекать в одном темпе. Временами, когда он принужден припадать к земле и ползти или замирать, он теряет часы драгоценного времени, а в войне, как известно, проигрыш одной стороны является выигрышем другой. Время, потерянное нами, выигрывает враг. Поэтому там, где на территории, занятой врагом, разведчик может пройти, он проносится серной.

Мы могли бы идти рядом с обочиной дороги, не скрываясь от гражданского населения, которое шло нам навстречу, но нас учили никогда не считать врага глупее себя. Разве группа советских бойцов, двигаясь против течения, не обратила бы на себя внимания врага? Надо было считать, что в этих текущих к востоку толпах людей и вереницах подвод находится не один немецкий разведчик. Поэтому мы предпочли весь этот поток обходить стороной, лугами, лесами, полями.

Неубранный хлеб тянется бескрайним морем, безжалостно потоптанный, стравленный лошадьми, помятый колесами и гусеницами танков и тракторов, жалобно шелестящий, колючий и осыпавшийся. Стоят колхозные сады, брошенные с их богатствами. Когда проходишь, с глухим стуком там и тут с ветвей падают переспелые яблоки. Не лают сторожевые собаки, — их увели хозяева или они убежали сами. С дороги доносится непрерывное тарахтение и грохот телег, тачанок, повозок, машин и тракторов, ржанье лошадей, короткие разноголосые гудки автомобильных сигналов. С деревьев начинают опадать листья.

Слева от нас лежит море, мы не видим и даже не слышим его, но ощущаем его по влажности воздуха, по едва заметной белесоватой дымке, которая смягчает легкой сединой черную шерсть ночи.

На западе, впереди нас, небо в разных местах светлеет зловещим отблеском далеких пожаров. Враг ли зажег наши дома, или народ, уходя от врага, не хочет оставить ненавистным захватчикам своего добра?

Вот засветились короткие вспышки взлетающих в небо немецких

ракет — зеленые, красные, белые. Мы остановились и пометили на карте место, где впервые увидели сигналы немецких соединений, текущих по степи прямо на нас.

Судя по скрипу возов, постукиванию деревянных колес и громыханию вальков, идут уже беженцы. Где-то там, в этом седом сумраке, по этой пыльной дороге, бредут, может быть, бабушкины голубоватые волы, а курочки-пеструшки несутся в корзине во время движения нескладной широкой арбы.

Звук железа, катящегося по камням шоссе и громыхающего над степью, теперь почти прекратился, зато гуще, черней стала масса текущего людского потока. Истомленные длинной дорогой, не знающие, где ее конец, люди идут молча и сурово, и гул их движения тяжело висит над степью.

Ночной мрак начал редеть, когда мы подошли к нашей цели — к мосту через реку, которая лежала последней существенной преградой для немцев перед наскоро созданной линией обороны у Таганрога.

Налево, за мостом, лежала большая деревня. Мы уже видели сквозь рассветную мглу ее очертания, высокие кровли, подобные стогам. Но деревня была нема и слепа. Через мост тянулись телеги, негустой вереницей брели пешеходы с узлами, заплечными сумками, с какими-то сундучками.

Мы приблизились к дороге и берегом вышли на мост.

Оторвать от потока беженцев фашистские передовые танки и не дать им переправиться — вот в чем была наша задача.

Заминировать и взорвать этот мост было не так уж трудно. Мы делали это неоднократно на пути наступления фашистов, задерживая их, срывая их календарь наступления и давая нашим частям лишнее время на укрепление своих позиций.

В полумраке мы дружно и молчаливо делали наше дело, когда до нас донеслось словно железное дыхание ада. Мы ощутили тяжелую поступь танков в дрожании моста, к которому привязывали тол.

Теперь оставалось лишь отбежать и залечь в кустах в стороне от моста, где я заранее выбрал заросшую кустами яму. Мы отбежали и залегли, наблюдая дорогу.

По дороге с грохотом, ревом и лязгом надвигалась танковая колонна. В еще не рассеявшейся мутной мгле рассвета мы не могли рассмотреть, фашистская она или наша. Колонна остановилась в нескольких сотнях метров. Лязг прекратился, только глухо ворчали моторы. Вот и они умолкли.

— Что, если мне переплыть и пробраться поближе? — неуверенно

предложил Володя.

— Пока ты будешь переплывать, они нагрянут на мост, — возразил я ему.

Небо медленно светлело, и на фоне его приземистые стальные черепашки виднелись с каждой минутой явственней.

— А знаешь, ведь это не наши. Нашим зачем бояться моста? Это немцы! — шепнул Ушаков.

— И я тоже думаю — немцы, — сказал Зонин.

Оставив при себе Толстова, Зонина и Ушакова, я приказал Звездину занять наблюдательный пункт на высоком дереве, откуда будет ясно просматриваться тот берег реки. Чтобы прикрыть наш отход от моста после взрыва, я расположил расчет ручного пулемета в одном из многочисленных, ранее вырытых окопчиков.

В рассветной тиши чирикнула какая-то перелетная птичка. Меня все еще мучило сомнение, посеянное Володей: не наша ли это колонна? Но почему бы ей двигаться позади последних пехотных частей, позади походных кухонь и бабушкиных голубоватых волов? Слишком ответственное дело навалилось на наши молодые плечи.

«А вдруг, — думал я без всякой логики и наперекор логике, — это все-таки наша колонна и мыотрежем ей путь?»

Сердце мое стучало так напряженно, как ему не случалось еще стучать ни под воздушной бомбежкой на переправе, ни под снарядами дальнотойных орудий.

Тяжело храпя, глухо лязгая, стояло перед нами стадо чудовищ нашего века. Но, может быть, эти чудовища — друзья?

— Чего же они не идут? — нетерпеливо шепнул Володя.

— Советуются, боятся.

Но и наши танкисты тоже могли бы остерегаться мин. Если они в боях отошли от намеченного маршрута и вышли к неизвестной переправе — откуда им знать, безопасен ли мост!

Передний танк вдруг взревел, дрогнул и одиноко пополз вперед, прямо на мост. Он двигался осторожно, словно ощупывая перед собой каждый вершок дороги, как делает это недавно ослепший человек.

Если он враг, то никто не похвалит меня за медленность и нерешительность при выполнении боевого задания.

Танк вступил на настил моста, он был от нас близко, но рассвело еще недостаточно, чтобы его можно было хорошо разглядеть подробно...

Шеген всегда надо мной смеялся, что я порой высказываю остроумную мысль с запозданием. Он называл такие идеи «остротой на



лестнице», когда человек, уходя из гостей, придумает меткое слово, которое не пришло ему в голову во время беседы с друзьями... Неужели и сейчас мое решение придет поздно? Надо немедленно решать.

Я приказал Зонину подобраться к разведочному танку и рассмотреть его знаки. Потом вдруг заколебался: Зонин громоздок, медлителен. Я зову его назад. Он неохотно остановился.

— Лучше ты, Володя. Ты видел их раньше, — говорю я Толстову.

Володя без единого слова скользнул в траву, как ящерица. Через десять шагов даже мы, следившие за ним, потеряли его из виду.

Танк вступил на мост... Почти прошел половину... И в этот миг раздался взрыв. Я понял, что Володя швырнул под танк связку гранат.

— Рви! — крикнул я.

В тот же миг оглушительный взрыв ударил из-под моста, со страшной силой выбросив вместе с пламенем вверх бревна, балки, доски, железные крепления, дым и облако пыли. В багровом мраке охваченный пламенем танк вздыбился, проваливаясь своей задней частью, и рухнул в воду. Железные скрепы, бревна и доски рушились, падая в реку и на берег.

— Здорово, а? — сказал Володя, вдруг вынырнув из травы.

Мы вскочили и побежали, пригибаясь к земле. На том берегу затрещали пулеметы, но пули возле нас не свистели. Видимо, облако взрыва заволокло нас, и гитлеровцы палили наугад под глинистый обрыв берега, думая, что мы еще находимся там. Добежав до ближайших кустов, мы бросились на землю.

Мутная белизна рассвета окрасилась зелеными и красными отсветами ракет. При свете их, сквозь незаметно спустившуюся муть тумана и морозящего дождя, мы увидели, как стальная колонна немецких танков пятилась назад. Отдельные танки начали сходить с дороги, направляясь к садам, расположенным за деревней, и в сторону лесистого холма.

— Больше сотни, — прикинув, сказал Зонин.

— А может, и две? — поддразнил его Ушаков.

Было ясно, что теперь они будут искать моста или брода и останутся здесь на весь день, замаскировавшись под деревьями. Нужно было еще удостовериться в этом, и мы наблюдали, лежа на животах, укрывшись палатками.

Я послал Ушакова к Звездину, чтобы тот возможно точнее определил танковую стоянку, а затем спускался с дерева к нам.

Дождь перестал моросить, небо окрасилось розовым облаком, ласково выглянуло утреннее солнце. Лишь по трепету листвы мы заметили, как скользнул с дерева Сережа Звездин. Он юркнул по стволу, как кошка, и

скрылся во ржи. Теперь, когда видимость стала лучше, немцы, поняв, что под обрывом никого нет, стали поливать пулеметами хлебное поле. Через минуту мы увидели Ушакова, который пробирался к нам с Сережей на спине. Сережа был ранен.

— Сережа, куда? — спросил я.

— Спина... — с кряхтением отозвался Сергей.

— Все засек?

Он протянул мне листок с карандашным наброском. Здесь было все как на ладони. Звездин был землемер по профессии, топография была его делом, и даже там, на суку дерева, он сделал рисунок, какого я не сумел бы сделать на столе.

— Отползай в кусты, если можешь. Можешь? — спросил я.

— Могу...

Но Сережа не мог ползти, его пришлось тащить на палатке.

Танковая колонна укрылась по садам и по лесистым склонам холма. Сняв для себя копию, я передал Пете план, набросанный Сережей, и послал его в штаб.

Не прошло и трех часов после ухода Ушакова, как мы услышали мощный свист пролетевших над нашей головой снарядов, а вслед за тем ударил гул артиллерийской пальбы где-то сзади нас и тотчас отозвался грохочущим эхом на том берегу реки, в садах. Там поднялись черные тучи взрывов.

— Тяжелая заговорила! — сказал Зонин.

С могучим свистом снова пронеслись над нами снаряды, и снова мы услышали сначала глухие, далекие удары выстрелов, потом грохочущие разрывы на том берегу.

— Что думает командир о дальнейшей судьбе этих танков? — спросил меня Володя.

— Что они будут растрепаны! — ответил я.

— Не уйдут?

— Не посмеют среди белого дня.

Свист и шорох воздуха над нашими головами повторялся размеренно раз за разом. Дальнобойная артиллерия майора Русакова начала громить фашистские танки. Нам оставалось вернуться в свою часть.

## IX

Наша дивизия вступила в бой месяц назад. Трудные дни отступления сменились неделями упорных схваток с врагом.

Фашисты бесились: те сравнительно небольшие расстояния, какие в Европе они привыкли проходить в течение двух-трех дней, здесь задерживали их надолго.

Шаг вперед, шаг назад... Уже целый месяц мы меняемся с ними окопами и блиндажами.

И вот сегодня, в день праздника годовщины Октябрьской революции, я со своей группой сижу в комфортабельном блиндаже. Еще вчера здесь сидел гитлеровский командир полка или даже дивизии, какой-нибудь «фон». Сегодня расположился здесь гражданин из колхоза «Кайракты» из-под Гурьева, казах, старший сержант Кайруш Сарталеев, и бреется перед зеркалом в серебряной оправе, которое впопыхах оставил ему этот важный фашистский чин. Оставленные «фоном» на столе все принадлежности для бритья вызвали у нас веселое желание побриться для праздника. Мягко водя по щекам барсучьим помазком, я хорошо ощущаю, какого наслаждения лишил я хозяина дома. Он, очевидно, любит комфорт. Тут брошено много всякой всячины, отнюдь не обязательной на войне.

Я только что скинул со стенки портрет самого фюрера, смотревшего на меня с угрюмой злобой. Гитлер, очевидно, убежден, что в этом взгляде есть нечто повелительно-гипнотизирующее. Я слышал, что один из царей тоже был уверен в своей способности останавливать взглядам кровь в жилах людей. Но эта уверенность была создана в нем придворными льстецами, которые делали вид, что страшно пугались. В окопах фашистов мы не раз натыкались на портрет Гитлера, и я уж не ошибусь, когда доберусь до него самого! Да кто из советских бойцов не мечтает об этой встрече! И мечта все-таки сбудется.

Блиндаж, очевидно, вначале был нашим. На это указывает его прежний вход, который фашисты засыпали, проделав себе новый, с другой стороны. Но что удобно противнику, то не годится для нас. Мы снова закрыли фашистский вход и открыли наш, старый.

Побрившись сам, я, вспомнив свою профессию, взялся за бритье Зонина, руки которого созданы для более весомых вещей, чем безопасная бритва.

— У их благородия женщины очень в почете, — неожиданно сказал

Зонин. — Видишь, сколько понавесил!

Над ложем «фона» действительно расположились в изобилии разномастные «фрау». Всем им, судя по фото, не хватало материала на платье.

Ушаков осмотрел хозяйство блиндажа, оставленное знатным немцем. Здесь был чемодан, набитый мехами; была шкатулочка с часами, брошками, кольцами — вероятно, след пребывания «фона» в каком-нибудь ювелирном магазине; целая коробка дамских тонких чулок и несколько полотенец с украинской вышивкой. Каждая из недостаточно одетых дам, украшавших стену блиндажа, очевидно, ждала для себя подарка.

В том, что все эти вещи остались в наших руках, виноват, конечно, нерасторопный денщик. Когда сегодня ночью совсем рядом с блиндажом загремело наше комсомольское «ура», когда в немецком тылу Володя открыл «октябрьский салют» из ручного пулемета и каждый из нас в честь годовщины швырнул по две-три гранаты в ближайшие блиндажи и окопы, — наш «фон», разумеется, поспешил ретироваться, а солдат не успел. Навстречу нам он поднял обе руки.

Петя вытащил откуда-то офицерские зимние сапоги, утепленные пухом.

— В чем же он побежал? Я серьезно боюсь за его здоровье!

Сегодня мы все веселы. Это наша группа, пробравшись к вражескому штабу и подняв тут солдат, отвлекла немцев и подготовила успех полковой атаки — удара имени двадцать четвертой годовщины Великого Октября. Хорошо!

Немцы не любят штыка, особенно ночью, когда штыками их выковыривают из окопа. Они не гасят огней и всю ночь пускают ракеты. Пройти через освещенное поле совсем не легко, но уж если мы пробрались достаточно близко для штыкового удара, то можно не сомневаться, что немцы свои окопы сдадут.

Я с удовольствием брею Семена. Мне нравится этот громадный, сильный человек, я всегда люблю его широкими плечами, его выпуклыми мускулами. На этих плечах он легко поднимает груз, под которым и конь погнется. Эти руки делали тракторы в Сталинграде. Теперь, поднимая врагов на штык, они швыряют их в кучу. От ударов Семена вражеские тела взлетают в воздух, как пушинки.

Сейчас он сидит, весь сжавшись, стараясь не заметить меня нечаянно локтем: он всегда опасается кого-нибудь задеть и ушибить.

— Ну, хватит, товарищ старший сержант, уже хватит! Все равно из такой лошадиной физиономии приличного ничего не выйдет, — жалобно

протестует он, не подозревая, как симпатична его «лошадиная физиономия».

— Самая подходящая, Сема. Кто из немцев увидит ее в бою, тот навеки запомнит.

— А может, усы отпустить, грознее будет?

— Усы?

— Да. Тогда и сам черт побоится!

— Нет, Сема, не надо. Тогда ты покажешься много старше, а мы должны возвратиться с войны такими же комсомольцами, какими ушли из дому. Такими нас будут ждать наши матери, девушки.

— Ну ладно уж, брей, — соглашается Семен.

— А ты, Сема, тоже дома любил девушку?

— Я? — Он никогда не ответит, не повторив часть вопроса. — Любил, конечно... А я и сейчас люблю...

— Расскажи, Сема, а?

— Рассказать?!

— Расскажи, — попросил я его, закончив бритье и не жалея на него фрицевского одеколona.

— Ну что же... У меня, значит, не очень складно вышло, — застенчиво начал Семен. — Я, конечно, влюбился в маленькую девчушку, совсем вот в такую...

— Почему «конечно»? — перебил Ушаков.

— Почему? А куда же мне большую! Я сам, слава богу, со сверхзапасом... А потом — ведь оно само собой получается, разве думаешь раньше! Она книгами у нас на заводе командовала... Я у нее однажды в библиотеке взял книжку о тракторах. Ну, с тех пор и пошло: хочешь не хочешь, нужно не нужно, идешь каждый день за книгой. А она, злодейка, возьмет да подсунет вдруг «Петра Первого» или «Степана Разина». Тут в день ведь не справишься. Вот и читаешь всю ночь, чтобы скорее отнести на обмен. Потом догадалась, что нужно. Пошли Земфиры, Мери, Тамары да Тани... Читаю и вижу: библиотекаря сама вроде них, с каждым днем все больше похожа, с каждым утром становится лучше и лучше, что же тут делать? С работы, где я стал прямо горы ворочать, бегу в библиотеку, отношу Тамару, беру Земфиру... А она, черноглазая, смотрит, смеется.

— А как ее звать-то? — спросил Ушаков.

— Звать-то? Ниной... Она, значит, смотрит, смеется: «Вы, Сема, должно быть, влюбились, такие все книжки берете». Видит, конечно, а все-таки спрашивает... Ну, что тут ей скажешь?..

— Ничего, — шутит Петя.

— Вот именно! Я ничего и не сказал. Я говорю: «Мне тут одно место понравилось в книге. Хочу еще раз прочитать получше». — «А можно узнать какое?» Я спешил да бух ей: мол, сорок вторая страница... Она сейчас же эту страницу открыла, глядит и смеется, видит — парень соврал. Однако книжку мне дала. А раз было так, что я ее не застал. Ну, можешь себе представить, как пусто там было, в библиотеке.

— Как в окопе.

— Ну, что ты! Тут мы все вместе, а там... Ух, я и носился по городу! Как паровоз. Обшарил парк, пересчитал весь народ, который шел из кино, бегал вдоль Волги... Нигде!.. И все-таки разыскал ее. Поздно, а разыскал — танцевала в клубе...

— С кем? — перебил Ушаков.

— С кем? Ну, с подругой... Танцуй она с кем-нибудь из ребят, я его отучил бы от этого занятия навеки! Ну, стою не дышу и гляжу, как танцует. Не девушка — воздух! Мне, сам видишь, танцевать противопоказано. А тут так и хочется закружиться.

Вспомнив эту картину, Семен вздохнул. Увлеченный рассказом Семена, Петька совсем на него навалился.

Когда товарищ рассказывает такую трогательную историю о себе, то хочется, чтобы она скорее пришла к счастливой развязке. Тут ведь не книга, не выдумка, а судьба твоего боевого друга, которому ты желаешь Во всем удачи, желаешь всем сердцем, как самому себе. Поддавшись этому чувству, и я загорелся вдруг нетерпением.

— Ну, а где же сейчас твоя Нина? — спросил я его.

Может быть, я должен был угадать по печальным глазам Семена, что спрашивать не надо, но я все-таки спросил. Ведь судьба наша стала общей. Надо делить с товарищем не только его удачи и радости, но и печаль.

У каждого из нас осталось дома что-то, чем мы жили и чем хотели жить дальше. Остались матери, Планы, дела и мечты, остались любимые девушки. То, что до войны согревало, теперь просто жжет. Недели и месяцы, полные напряжения и опасностей, позволяют лишь на миг отдаться воспоминаниям, и каждый раз в этот миг делается вдруг нестерпимо грустно. Так вышло и с Семеном, и мы сами его толкнули к этому своими расспросами.

— К сестре поехала в отпуск, в Одессу... Теперь уж кто знает...

Он мрачно махнул рукой.

Может быть, среди тысяч беженцев беспомощно и одиноко двигалась эта маленькая черноглазая Нина, мечтающая добраться до Сталинграда, на который фашисты уже направляют один из железных зубцов своих

вил. Если бы заглянуть в гущу этого многотысячного потока и увидеть в нем эту песчинку! Только увидеть, чтобы Семен утешился, что она не осталась у врага. Да, мы их встретили много — черноглазых и синеглазых, красивых и некрасивых, но бесконечно милых сестер... Они шли в стоптанных, разбитых ботинках и вовсе без обуви, с окровавленными ногами.

— Будем искать ее и найдем! — говорю я с уверенностью Семену.

Я вынул блокнот и записал имя и фамилию маленькой библиотечарши из Сталинграда. На этом мы прекратили нашу печальную беседу.

Вошел Володя. Он был вызван в штаб, и я знал, что у него есть секрет, из-за которого он будет ходить смущенным до вечера, пока не придет политрук и не разоблачит его перед всеми... Володя как-то особенно ласково вручил нам всем письма и опустил глаза. Но Ревякин уже рассказал мне, что эпизод с Володиным итальянцем попал в сообщение Информбюро и напечатан во всех газетах. Я знаю, что вместе с почтой Ревякин дал ему и газету, но Володя нам ее не показал.

С этой почтой я получил письмо от старшего брата из холодных, залитых водой и уже подмерзающих окопов под Ленинградом. Мой брат, как старший, всегда заботливо старается поддержать во мне боевой дух. Поэтому он пишет всегда немного напыщенно, немного смешно. Он, видимо, не подозревает, что здесь, на юге, золотая осень тоже уже отошла и что здесь окопы далеко не мечта жизни. В прошлый раз он писал, что в его окопе выросли осенние грибы. Это значит, что они уже долгое время держатся, не отступая ни шагу назад. Теперь он мне пишет о том, как он привык к тяжелой окопной жизни и лежит неделями в холодной земле, поливаемой морозящим, мелким дождем. Он, как довольно легкое дело, описывает бой с прорвавшимися танками.

«Первый твой враг — страх», — пишет он мне. Это показывает мне, что мой брат, чтобы меня поддержать, многое упрощает, а сам еще не свободен от страха. Впрочем, и я ведь никак не могу освободиться от этого неприятного чувства. Надо — и лезешь к черту на рога, а сам замираешь. Но только одно и спасает — когда разозлишься. Но разозлиться можно в бою, а в разведке нельзя даже злиться, душу не отведешь! Приходится думать и за себя и за товарищей, да еще не выказывать страха перед другими — ведь ты командир!

Брат, видимо, дерется неплохо: на маленькой фотокарточке, аккуратно приклеенной к его письму, я вижу две медали и орден. Он о них ничего не пишет: смотри, мол, сам! Усы его торчат мужественно и храбро.

От письма брата я возвращаюсь мыслью к Володе, от него — к брату.

Один смотрит на меня немного хвастливо, другой смущенно. И смущение его происходит оттого, что он прежде других попал на страницу газеты. Он считает, что корреспондент должен был описать всю нашу операцию у моста. Он думает, что товарищи будут ему завидовать. Я понимаю, что его надо освободить от чувства неловкости.

Петя оказался прямее меня. Пока я размышлял о том, как лучше и деликатнее заговорить с Володиной на эту тему, он подошел и просто сказал:

— Что дуришь-то, комсорг? Давай-ка газету!

Мы окружили Володю, весело зашумели, стали его поздравлять. Я хотел сказать, что слава Володи делает честь нам всем, как вдруг раздался стонущий тяжкий грохот дальноточных орудий, и тотчас же залаяли вблизи минометы... Это было сигналом, что минуты солдатской лирики кончились...

Нас вызвали к политруку. В сборе был весь взвод.

Как удар тяжелого снаряда, обрушились на нас слова Ревякина:

— Москва в опасности!

Мы — бойцы. На войне мы всегда в огне. Но боец не полено, он не просто горит в огне, а рождает огонь. Перед ним карта его участка, но он не забыл и карту страны. Бойцы знали, что всей стране угрожает грозная опасность. Но той опасности, о которой сказал Ревякин, мы просто не ждали. Нам трудно было поверить...

Над нами ожесточенная артиллерийская дуэль, от которой трещит небо. Куда ни выглянешь из окопа, всюду вздымаются черные фонтаны выброшенной земли. Но мы в этот час ничего не слышим, не видим. Для нас это только повторение страшного сочетания трех простых, ясных слов: «Москва в опасности».

«Москва в опасности!» — гремит небо над нами.

«Москва в опасности!» — перекликается грохотом взрывов земля.

Эти слова так просты, что, как бы ни хотел укрыться от их ясного смысла, не скроешься. Они бьют прямо в сердце.

Ревякин говорит с нами спокойно. У него чуть сдвинуты брови, покрасневшие от бессонных ночей и от ветра глаза серьезные. Но он полон уверенной надежды, и мы всем существом слушаем его.

Ревякин говорил об обороне Москвы. Он как бы чертил схему оборонительных линий, которые проходили везде — под Москвой и по территории, занятой нынче врагом, по степям Украины и болотистым лесам Белоруссии; они проходили здесь, на юге, и на далеком севере. На дыбы подымались города, заводы и рудники. Хлопком стрелял Узбекистан, зерном — Сибирь.



Линия обороны проходила по Балхашу и Лениногорску, по Джебказгану и Чимкенту; она проходила по Караганде, дававшей уголь вместо занятого врагами Донбасса, по стихам поэтов и песням наших степных акынов. Она проходила по сердцам миллионов советских людей, потому что она защищала сердце Советской страны.

«За Москву! За Москву! За Москву!» — грохочут удары оружейных расчетов.

С нас сразу слетело то праздничное настроение, которому мы отдались после нашей ночной победы, исчезли вся шутливость, воспоминания о доме, о личных делах.

Политрук принес нам черновую запись речи Сталина, произнесенной на параде сегодня утром. В штабе дивизии радист сумел ее записать. Только завтра она попадет в газеты, но наш Ревякин всегда успевает связаться с радистами и узнать все новости, прежде чем их наберут в типографии нашей «дивизионки», как называем мы попросту свою небольшую газету.

Досадуя, что нет еще полного текста речи, мы стараемся сберечь то, что передал нам политрук, но все поголовно запомнили спокойные слова надежды и уверенности: «Победа будет за нами».

Политрук взглянул на часы и решительно поднялся с места.

— Воздушная разведка отметила большое движение танковых колонн, — сказал он. — Перед вами стоит задача проникнуть сегодня в фашистский тыл, пункты будут указаны из ВВС. Скопления танков должны быть занесены на карту. Понятно? Идемте сейчас к командиру.

Мы пошли, но огонь фашистской артиллерии усиливался: мины били по переднему краю нашей обороны, тут и там стали падать снаряды на наши окопы.

— Неспроста! — проворчал Зонин.

— Что неспроста? — спросил я его.

— Такой артналет. Я думаю, мы не успеем.

— Почему не успеем?

— Они сейчас сами пойдут в атаку...

Один из снарядов упал шагах в ста от нас.

— Ложись! — скомандовал политрук.

И тотчас же три других снаряда просвистели над нашими головами и легли чуть-чуть сзади. Если бы мы не успели упасть в окоп, нас разорвало бы в клочья. Комья земли падали на нас сверху. Со стороны переднего края слышалась трескотня пулеметов. Она нарастала с каждой минутой. Так, бывало, в затихшей спящей степи затрещит кузнечик, подхватит другой,

откликнется третий, четвертый, и вот уже вся степь до краев заливается сухим треском.

Пули пролетели над нашими головами. Со всех сторон, куда ни взгляни, поднимались черные тучи взрывов. Все прижались к земле перед этим вихрем... Мы не могли подняться. Земля дрожала от гула взрывов, и вдруг откуда-то, словно из самой земли, раздался нарастающий рокот танковой колонны фашистов.

Нет, не один я подумал тогда, что все-таки мы легкомысленные мальчишки. Весь наш разговор и все мои размышления во время бритья, все ребячьи мысли показались вдруг пустым зубоскальством в такой тяжелый момент.

Я тогда не мог еще осознать, что наше мимолетное веселье и наша теплая солдатская грусть за товарища были признаками юности и живости человеческого сердца. Я еще не понимал тогда, что этими чувствами мы словно смыли с себя копоть предшествующих боев, что улыбка, усмешка и шутка, дружеский вздох сочувствия придавали нам силы для новой борьбы. А борьба предстояла большая.

Мы прислушивались к нарастающему гулу.

Семен оказался прав: мы опоздали в разведку. Среди белого дня фашистские танки шли на прорыв обороны, в атаку...

— Танки! — крикнул Володя.

— Гранаты, бутылки готовь! — скомандовал политрук.

Он первым выскочил из окопа и побежал занимать оборону на рубеже, охраняющем штаб дивизии.

Гневно и тяжело вздыхает ударами взрывов Ростов. Все, что фашисты сумели на юге скопить, они две недели подряд опрокидывали на него в артиллерийском огне. Вторую неделю город бьется, оцетинившись всеми своими стволами. В него попадает каждый снаряд, выпущенный немцами, а он вынужден раскидывать свои по всем направлениям широких пространств: по дорогам, по лощинам, оврагам, по садам просторных окрестностей, которые всю жизнь питали его, тянулись к нему сплетением дорог и жили его жизнью. Густой, душный дым тяжелым облаком обволок все небо.

Грохот взрывов и рев моторов сливаются над городом в сплошной и невнятный гул. Целые орды вражеской артиллерии наседают на него. Цель достаточно велика, чтобы каждый снаряд попал в нее, безразлично — днем или ночью.

Обстрел давит на слух, на зрение, на кровеносные сосуды. Люди разговаривают отрывистыми выкриками, помогая словами, мимикой, движением рук, выражением глаз.

Мы долгое уже время видим войну каждый день, но нынче она встала перед нами во весь рост. С грохотом она валит стены больших домов, рассыпает в мусор кварталы, пляшет огнем.

Но в наших сердцах сегодня не только сознание этой опасности, нависшей над Ростовом. Мы ощущаем тяжелые тучи, которые движутся на Москву. На наших плечах лежит тяжесть сурового ленинградского неба, пропахшего пороховым дымом.

Тревожный набат Москвы слышен по всей стране, он отдается в окопах, в биении солдатских сердец... Тяжело читать в сводках названия городов: Волоколамск, Клин, Малоярославец, Тула, Калинин.

Нашему взводу часто поручаются мосты: нас посылают всегда на наиболее ответственные участки. А мост — это самое узкое место на широких полях войны. На какой-нибудь ничем не замечательный мост иногда за сутки обрушивается столько металла, сколько не всякий завод может выдать за месяц.

Но на этот раз мы у моста не одни. На небольшом предмостном пространстве расположилось множество подразделений. Нас поддерживает и артиллерия, установленная на том берегу у моста. Десятки пулеметов скрещивают свои трассы на подступах к переправе: в каждой рытвине, в

каждом логу засел миномет... Вся земля вокруг взрыта, как картофельное поле: ее ковыряли и ковыряют снаряды, ее рыл и роет шанцевый инструмент — солдатская боевая лопатка. Повсюду воронки, окопы, траншеи. Постройки вдоль моста разрушены. У самого берега, под откосом, — укрытые блиндажи. Сейчас мы подводим конец траншеи к бетонным водопропускным трубам, по которым будут сообщаться обе стороны большака.

На этот раз мост оказался нужным как нам, так и немцам. Фашисты рассчитывают после занятия города пустить по нему на Кавказ свои танки и всю свою армию вместе с техникой. Но наше командование лучше знает, почему мы должны еще сохранять этот мост. Очевидно, скоро должно быть наше контрнаступление. Потому, против обыкновения, ни одна сторона не бьет по мосту.

На этом узком участке сравнительно тихо.

Отставив лопату и вытерев пот со лба, я закручиваю сигарку. Вместе с листком газеты, от которого я отрываю кусок на закрутку, выпадает маленькая газетная вырезка. Заметка рассказывает о трудовых условиях нефтяников Гурьева. Она говорит о родных мне местах, где люди в тылу трудятся, помогая нам строить победу. В ней рассказывается о молодой казашке, которая вместо мужа-фронтовика стала на выкачку нефти. Заметку эту я вырезал еще третьего дня и достаю ее, сам не думая, каждый раз, когда хочу закурить. Каждый раз я невольно прочитываю несколько строк. Эти строчки о родине питают мое сердце теплом. Так каждый из наших бойцов любовно вылавливает в очередной газете крупинки вестей о родных местах.

По мосту в строгом порядке отходят последние наши части, чтобы занять новый рубеж, создать новый заслон у ворот Кавказа. В закрытой машине по дороге мимо нас проезжает маршал Семен Михайлович Буденный. Я сразу узнал его. Грозные усы его и орлиный взгляд вмиг заставляют вспомнить все, что ты знаешь о подвигах Первой Конной. Он задержал машину, молча всмотрелся в нашу работу. Сунув поспешно в карман недокрученную сигарку, я вытянулся во фронт и почувствовал, что краснею. Как быть? Подбежать, доложить? В такой обстановке старший сержант вдруг сунется с докладом к маршалу? Чепуха. Разве можно!

Очевидно, убедившись, что наша работа направлена не на разрушение моста, он кивком головы приказал ехать дальше. Машина пошла через мост.

Мне вспомнился известный эпизод, как в восемнадцатом он с обнаженной саблей в руке впереди своей Конной ворвался среди белого дня

из Батайска в Ростов, тогда занятый тоже немцами, и отнял у захватчиков город, который теперь он вынужден покидать. Теперь он направил свою машину в Батайск. Не этот ли эпизод вспомнил и он, когда сейчас, как мне казалось, грустно проехал по мосту? Я желаю ему такого же победоносного возвращения, как в восемнадцатом году.

Я вытащил из кармана смятую сигарку, выбросил и принялся сворачивать новую. Ко мне ласково подошел Зонин. Он любит нас всех, и мы все относимся к нему особенно тепло после его рассказа о маленькой девушке из Сталинграда. Мы все запомнили ее имя — Нина. Он теперь как-то слился с этим своим рассказом, и даже во время жарких боев о нем думаешь лишь неразрывно с этой маленькой девушкой. Я уже знаю заранее, зачем он подошел, и готовно протягиваю ему свой кисет со сложенным по-солдатски номером старой газеты. Из середины газеты опять выпадает моя заветная вырезка. Семен, подняв ее, ласково улыбнулся.

— Все бережете, товарищ старший сержант...

Я не думал, что кто-нибудь из моих товарищей обратил внимание на эту вырезку, тем более такой нелюбопытный и обычно молчаливый Семен. Но оказалось, что этот парень не только заметил, но понял мое отношение к этой скромной газетной заметке.

— Я тоже нередко думаю: как-то сейчас в Сталинграде? — грустно сказал он. — Должны же ведь наши ребята прислать нам хорошие танки, не хуже немецких.

— Пришлют, — уверенно сказал я. — Может быть, шлют уж, да первое дело сейчас Москва... Может быть, шлют на оборону Москвы.

— Да, конечно, ведь я понимаю... И нам-то не все ли равно откуда, были бы танки! А все-таки хочется видеть свои, сталинградские... — Он усмехнулся, добавив: — Будто родные...

Я его хорошо понимал. За сталинградским танком он увидал бы свой город, его дома.

Третьего дня он сказал мне, что на дороге видел в санитарной машине сестру-казашку и уверен, что это моя Акбота. Правда, его описание не убедило меня, что это она, и не желал бы я для нее нашей солдатской доли, а все же подумалось: ну а вдруг? Вдруг в самом деле по этим дорогам войны пройдет машина, из которой послышится голос: «Кайруш! Костя!» Машина, конечно, не остановится у моста, она пронесется мимо, но я согласен даже и на один только звук этого милого голоса.

Солдатская фантазия все может сделать. Вот я уже усадил их обеих в одну машину — Акботу и Нину из Сталинграда. Они уже рассказывали

друг другу о нас, как мы рассказывали о них, и вдруг видят обоих нас на дороге...

Но из проходящих санитарных машин никто нам ничего не крикнул.

К вечеру вступило на посты охраны моста второе отделение нашего взвода. Мы собрались в землянке. К нам, как всегда, заглянул Ревякин со сводкой Информбюро. Опять имена подмосковных. Мы стали расспрашивать. Он не скрывал. Он сказал нам прямо и просто:

— Да, Москва продолжает оставаться в опасности. Больше того, судя по названиям пунктов в сводках, немцы стоят еще ближе к Москве, чем были раньше. На нашем фронте сейчас происходит огромная битва, гигантская битва, и эта битва идет за Москву.

Мы расспрашивали подробней, в скольких километрах от Москвы находится Волоколамск, где Малоярославец, где Клин.

«Москва снова в опасности. Немцы под Москвой опять пошли в наступление».

Эти слова подавляют своей простотой и гнетущей отчетливостью страшного смысла. Но мы знаем, что на нашем фронте, западнее Ростова, уже три дня идет разгром армии фашистского генерала Клейста, с других фронтов сводки тоже приносят в последние дни сообщения об огромных потерях немцами техники — танков и самолетов. Не из бездонной же бочки достанут они тысячи новых танков взамен потерянных! Нам надо лишь твердо держаться, пока они истощат силу наступательного порыва. Так говорит нам Ревякин.

— Сегодня за Доном, за нашей спиной лежит Москва. Не сдадим Москвы!

— Не сдадим, товарищ политрук! Умрем — не сдадим! — дружно и возбужденно кричим мы ему.

— Умирать не надо. Будем жить для победы! — заключает он и выходит.

Через десять минут меня вызывает связной к командиру взвода. Сюда явились также и другие командиры отделений.

— Охрана моста поручается нам. Может быть, через месяц, а может, и завтра он будет служить для победы нашей Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Сколько бы времени ни пришлось тут стоять, надо держаться до последнего человека, — говорит нам лейтенант.

В его прямом взгляде светится доверие к нам, вера в то, что мы не отступим. Он показывает нам расположение смежных подразделений. Мы — во втором эшелоне. В первом — третий взвод, он лежит впереди нас под снежной метелью возле шлагбаума. Наш взвод сегодня караульный. Он

несет непосредственную охрану моста.

К вечеру наши части полностью отошли из Ростова. Прекратился и обстрел города немцами. Наступило безмолвие. Пахнет дымом. Огней не видно. Где-то слева, в развалинах городских предместий, может быть над трупом хозяина или хозяйки, воеет собака.

Тяжело ощущать близость большого города, который только что пал и лежит под вражеским сапогом. Он лежит в бессилии и угрюмо молчит. Это молчание сильней, чем призывный вопль, будит в нас жажду мести.

И в этой гнетущей тишине, нарушаемой лишь глухими ударами отдаленного, словно подземного гула каких-то невидимых битв, мы слышим зовущий тревожный набат Москвы.

## XI

Ночью гитлеровцы рванулись вперед. Они хотели показать, что у них достаточно сил для нового удара, и хотя Ростов обошелся им дорого, нам казалось, что бешенства этого разъяренного потерями зверя хватит на то, чтобы рваться дальше... Но мы его не пропустим. За нами лежит Москва. Москва лежит за этим мостом через Дон. Мы должны здесь стоять насмерть.

Эту ночь мы не спали. Мела поземка, вздымая колючий снег. Мы по очереди обогревались в землянке. Когда я, промерзший, зашел в блиндаж, где на печурке бурлил кипяток, ребята говорили о Москве. Володя Толстов побывал в Москве, на съезде комсомола. Делегаты несколько дней осматривали столицу с ее древними памятниками, с ее удивительными новостройками:

— А в Кремле был? Был в Кремле? Расскажи!

Володя рассказывал.

Политрук опять зашел к нам: чувствовалось — проверить, какое у нас настроение, поддержать. Может быть, он пожалел, что слишком мрачно говорил о Москве.

— А ты, Сема, что же молчишь? — спросил он задумчивого Зонина.

— Он стишки вспоминает! — шутливо сказал Петя.

Семен в самом деле сидел с рассеянным видом, но в рассеянности его сквозил какой-то оттенок поэтического подъема. Он вдруг оживился:

— Стихи? А ты почему знаешь?

— А что, угадал?

Мы все взглянули на Петю с укором: нельзя обращать в насмешку то, чем товарищ с тобой поделился по дружбе в минуту грусти.

— Угадал, — согласился Зонин. И, глядя на угли печурки, он стал негромко читать:

Скажи-ка, дядя, ведь недаром  
Москва, спаленная пожаром,  
Французу отдана?

Семен отодвинулся от печурки, потом встал, голос его не приметно окреп. Рост его не вмещался под низким накатом нашей землянки. Стихи



захватили всех. Мы не слышали больше ни назойливых звуков относимой ветром трескотни пулеметов, ни редких ударов мин. Мы смотрели на него, как на нового человека, принесшего нам какое-то новое слово...

И молвил он, сверкнув очами:  
— Ребята! Не Москва ль за нами?  
Умремте ж под Москвой...

Мы все вскочили при этих словах. У меня подкатил к горлу комок...  
— Не Москва ль за нами! — выкрикнул, не сдержавшись, Володя.

Умремте ж под Москвой,  
Как наши братья умирали! —

продолжал читать Зонин. Он сделал паузу, и никто недохнул.

И умереть мы обещали,  
И клятву верности сдержали  
Мы в Бородинский бой.

Глядя на Зонина, мы верили, что это были именно богатыри, такие, как Зонин.

Нашего политрука охватило такое же волнение, как и нас. Он отозвал меня.

— Ну и читает! Никак и не ожидал, — сказал он. — Пусть он пройдет со мной, почитает там молодежи из пополнения... Молодец! Ведь какой молодец! Пойдем со мной, Зонин, я дам тебе боевое задание, — позвал он.

— Одному? — удивился Семен.

Мы привыкли к тому, что в любое секретное дело нас посылают не меньше чем по двое.

— Я с тобой, — ответил Ревякин.

Они ушли.

«Молодежи из пополнения...» — сказал политрук. Но мы почувствовали, что с нами не только это молодое пополнение товарищей. Стихи Лермонтова подняли к нам в пополнение великие силы гениев и

героев: с нами были и Белинский, и Чернышевский, и Толстой, и Глинка, Чайковский, Горький, Суворов, Донской, Кутузов — весь генеральный штаб русской мысли прошедших веков и нашего века. Они все смотрели на нас с надеждой. И с нами сегодня Ленин, с нами сегодня тот, кто всегда вдохновляет на подвиг, с чьим именем нераздельно связана наша любовь к Москве!

В эти дни загорелся особенный бой. Он идет сейчас разом на всех фронтах, на всех необъятных просторах. В бои вступили и ум, и умение, и отвага, и честь советских народов. Бой в воздухе, бой на земле, на воде, в эфире...

Первые строки Пушкина дошли до меня на родном языке в переводе Абая. С нами и он, и Абай, а за ним, в халате нараспашку, с домброй в руке, призывая ветер победы к окопам, идет столетний мудрый акын Джамбул. Великие люди всех наших народов в эти дни с нами. А сегодня Семен еще вызвал на помощь к нам Лермонтова и бородинских богатырей. Их имена мы несем в сердцах как знамена борьбы против зазнавшихся варваров, не признающих иной культуры, кроме железного кулака, не знающих иной поэзии, кроме гнусного вонючего бреда гитлеровской книжонки «Майн кампф».

Семен возвратился с Ревякиным. Политрук негромко сказал:

— Товарищи, на участке третьего взвода угроза прорыва. Там немцы крепко нажали, и ребята слегка пошатнулись. Комсомольцы, за мной!

Мы вышли в ночь и метель. Справа от моста идет жаркая перестрелка. Лупят немецкие пулеметы, непрерывными струями трассирующих пуль очерчивая границы намечаемого прорыва, указывая своей пехоте и минометам ночной прицел. На том же участке падают и взрываются мины.

Ночью все это выглядит более зловеще, чем при дневном свете. Огненные разрывы мин, огненный полет светящихся пуль делают реющую над полем смерть более ощутимой, чем днем. Огненные шмели несутся роями, кажется, прямо тебе в лицо...

Но смятение ощущаешь недолго. Оно проходит, как только мы начинаем ползти, преодолевая препятствия: части разбитых повозок, машин, воронки от мин и снарядов. Они же служат укрытием и подчас дают возможность приближаться к переднему краю не ползком, а короткими перебежками... Добираемся до пустых окопов. Тут может быть неплохая линия обороны, но нам еще надо вперед.

И все же трассирующие пули, летящие над окопом, действуют неприятно. Стараешься убедить себя, что днем их летит не меньше, только они не видны, что эта стрельба огоньками — лишь средство психического

воздействия, чтобы прижать нас к земле. А все-таки неприятно.

От одного из таких опытов воздействия на психику мы фашистов уже отучили: они больше не лезут на наши окопы во весь рост. Мы их научили страху, мы видели, как они драпают. Это наше воспитание: в Европе их не могли научить удирать. Но нам предстоит еще дать им немало других уроков.

Мы выскочили из окопа под самый дождь летающих огоньков, сделали перебежку, опять поползли. Второй красный веер смертоносных огоньков встает над полем. Вот он направился прямо на нас — немцы переносят прицел. На какое-то мгновение мы задерживаемся, нас тянет в только что покинутый окоп. Но сегодня нельзя медлить.

— Вперед! — негромко зовет из темноты голос нашего лейтенанта.

Как раз на нашем пути взрывается мина, другая.

— Вперед! — ободряет нас политрук.

Конечно, так. Следующие мины упадут уже где-нибудь в другом месте.

Слышен стон. Кто-то из наших ребят неосторожно обжегся об один из летающих огоньков. Может быть, насмерть? Кто? Перебираю в уме, кто был поблизости от меня в окопе. Не знаю. Может быть, Зонин, ему так трудно ползти: он совсем не умеет этого делать.

Вот самая свистопляска: почти по соседству с третьим взводом засели немецкие автоматчики. Они неожиданно встречают нас диким треском полусотни стволов. А, дьяволы!

Наш бой с автоматчиками завязался за пятидесятиметровую зону, которая отделяет нас от линии окопов, занятых теперь ими. Они знают силу наших штыков и стараются не подпустить нас на штыковой удар.

Уже светает.

Мы добрались до какого-то старого полузанесенного снегом окопа с разбитым правым крылом. Рядом со мной благополучно спрыгнул вниз Зонин. Он оказался кстати: с его могучим броском гранаты никто не мог состязаться. Получив приказание, Семен, как всегда, несколько медлительно прислонил винтовку к стенке окопа, скинул шинель, оперся о бруствер, и не успел я его остановить, как он выскочил из окопа и, стоя под ливнем пуль, швырнул одну за другой две гранаты и тут же упал. Одна из гранат разорвалась в окопе у немцев, другая — ближе.

Я схватил за ноги Зонина и потянул к себе, полагая, что он убит или ранен.

— Пусти, пусти, кто там балует! — услышал я спокойный голос, и Семен «задним ходом» сполз в окоп. Он оказался цел.

Немецкие автоматчики растерялись. Их пули летят безалаберно вверх.

Еще бы сейчас гранаты! Но в это время из окопа в нашем направлении взвиваются две красные ракеты. Беда! Мы слышим гул танков... Пока они не настигли нас, надо скорее менять окоп.

— К атаке, товарищи! — слышу я голос Ревякина.

Мы рванулись вон из окопа. В такой миг всегда сильнее тот, кто смелее.

Кто-то снова выкрикнул:

— Ребята! Не Москва ль за нами?

Никому уже нет дела до того, целится ли в него затаившийся автоматчик. Каждый ищет себе противника для поединка, намечает врага и бросается на него. Победить... Умереть, если это нужно для нашей победы. Здесь он выкрикнет те святыя слова, которыми не бросаются на ветер:

— За родину!

— За Москву!

Все это происходит в несколько секунд. Треск автоматов сразу смолк. Из мрака, освещенного отблеском дальних ракет, оскалились зубы, сверкнули яростные глаза из-под касок. Штык. Приклад. Звякнул стальной шлем. Какой-то хруст. Крики, стоны. На фоне залитого заревом неба громадой выделяется Зонин: он зол и беспощаден. Сцепившись и колотя друг друга, сплелись без оружия, добираются к глоткам руками. Валятся под ноги других. Просто и холодно в одно из тел вонзается штык.

Над головами сверкнула ракета. Мы не кончили еще схватки, как на захваченный нами окоп с грохотом наваливается танк. В пылу драки его не успели встретить гранатами.

— Ложись!

Зонин рывком свалил под себя недобитого здоровенного фашиста и душит его. Над нами со свирепым храпом танк утюжит окоп, осыпая края. Мы все засыпаны, затаились...

Танк мнет гусеницей наш окоп. Фашист под Зониным стих и вытянул ноги в кованых сапогах в мою сторону. Зонин лежит на нем.

Я упал на дно окопа в тот миг, когда зубастая гусеница уже надвигалась, и лежу рядом с застреленным мною же автоматчиком. Я хочу отползти от него, но боюсь, что Зонин, не видя, ударит меня каблуком по лицу.

Танк прополз над нами еще раз, вгрызаясь в землю в злобе на то, что ему никак нас не достать. Однако такая крупная мишень не может долго топтаться на месте. Боясь гранат, он не смеет неподвижно торчать над нашим окопом. И он срывается с места. Но в спину ему плеснуло огнем:

соседняя группа выслала против него истребителей. Мы не отстали. Из нашего окопа тоже взлетела бутылка... Танк, весь в огне, бросился уходить назад, но под гусеницу полетела связка гранат Семена. Взрыв. Чудовище остановилось, пылая.

За спиной у меня раздался выстрел. Ребята бросились поднимать Зонина, оседающего по стенке окопа. Он простонал. Оказалось, что фашист вытянул ноги и притворно затих лишь для того, чтобы пальцы Семена не душили его за глотку. Потом, когда Зонин бросил свою связку гранат, отдышавшийся фашист, незаметно достав пистолет, выстрелил снизу.

Зонин был ранен в грудь...

— Сема! Сема! — кинулся я к нему.

Петя в упор выстрелил в голову немца, на котором недавно лежал Зонин.

Линия обороны выпрямлена. Мы оставляем убитых немцев в окопах и отходим, вынося своих раненых. Снежная сетка и утренний синий мрак нас укрывают. Я помогаю нести Семена. Вот мы спустились к берегу. Тут нас не видно. Движемся к своему блиндажу. Почти у каждого есть трофей — автоматы немцев.

— Семен, вот тебе автомат, — подходит к нему Толстов. Он словно не верит, что Зонин серьезно ранен.

— А ну его! Сучий род! Что мне в нем? Куда его... в рукопашном легок... — Семен сам тоже не верит, что выбыл из строя. — Пить! — просит он.

Ему протянули сразу несколько фляжек. Он взял одну, сам донес до рта, уронил ее и захрипел, закатив глаза.

— Сема! Сема! Ребята, в машину его, скорей на ту сторону! — крикнул я.

К нам подошел Ревякин, взглянул на Семена и снял серую ушанку.

— Семен! — оторопело выкрикнул Володя, еще не веря этому красноречивому жесту.

Бойцы окружили Зонина. Он лежал неподвижный, огромный. Мы уже научились узнавать облик смерти.

Кроме Зонина у нас было трое убитых, раненых пятеро.

Целый день немцы нащупывали у нас слабое место для прорыва. Где чувствовали сильный отпор, там они не решались нажать и начинали искать новое место. Их истребители низко носились над нашими позициями, осыпая пулеметным дождем. Но переправу они не бомбили. Они видели, что здесь нас остается совсем немного. Они были уверены, что мост им понадобится для себя, а с нами они надеялись легко

справиться не сегодня, так завтра.

К вечеру немцы постепенно утихли. Мы подошли к готовой могиле, где лежали на берегу убитые и еще не похороненные наши товарищи. Собрался весь взвод.

Подошли лейтенант Мирошник и наш политрук.

На минуту мы все обнажили головы. Я не мог оторвать глаз от лица Семена, но слезы мешали его видеть.

Потом лейтенант негромко скомандовал нам построение. Мы стали по команде «смирно».

Политрук Ревякин вышел к изголовью убитых. Вместо надгробной речи он просто сказал:

— Они пали, защищая Москву...

И под троекратный салют мы опустили их в землю.

## XII

В битве за Ростов в те памятные дни рождалась наша первая победа на юге. Под нажимом с юга, севера и востока началось первое крупное немецкое отступление, первое бегство гитлеровцев.

Мы уже знали из сообщений Информбюро, что на нашем фронте идет гигантское сражение. Несколько ночей подряд мы видели зарево и дрожащие вспышки взрывов на горизонте. Мы слышали новый на нашем фронте гул, словно грохот гигантских литавр, — звук разрывов «катюши», о которой до этого нам только рассказывали прибывавшие с других фронтов.

И вот наступила решающая темная ненастная ночь. Для нас ее неприглядное ненастье было самым верным прикрытием, врагам оно несло гибель.

Словно ураган гнева и ярости мчался с востока на запад. Во мраке по тонкому льду, проваливаясь и выныривая, переправлялась с того берега наша пехота, местами по грудь в обжигающей ледяной ноябрьской воде.

Среди ночи вдруг в самом центре города грянуло русское «ура», и улицы залило неудержимым сплошным потоком наших атак.

По дорогам в город неслась река обнаженных сабель нашей кавалерии. Под светом сигнальных ракет, как молнии, сверкнули ее стальные клинки.

Пять долгих месяцев ждали мы вместе со всей страной этого радостного часа. Сколько наших товарищей и друзей пало на рубежах обороны, отодвигавшихся все в одном направлении — глубже и глубже к востоку... Они так хотели дожить до победы...

А как легко несут тебя ноги в такую ночь! Как меток солдатский глаз, как крепка и верна рука! Как давит тебя спазма радостных слез от тысячеголосого крика «ура»!

Они летят через город — в свете ракет сверкают обнаженные сабли кавалеристов. Грозно движутся неумолимые штыки в руках стремительно наступающей пехоты.

Гитлеровцы под неожиданным и мощным ударом с юга бросают южные предместья города и мчатся к северным окраинам... Но с севера им тоже наносится удар. Их гонят и бьют, и они в безумии мчатся опять к югу, где ждет их верная смерть на штыке.

Так во время горной грозы осеннюю ночью в страхе и смятении несутся табуны коней, сталкиваясь и давя друг друга на узких тропах,

натыкаются на утес, шарахаются в испуге, скользят с обрыва и падают в пропасть...

То же произошло в эту ночь с немцами в Ростове. Они уже думали, что устроились тут на всю зиму, и вдруг налетел ураган... Бросая машины во дворах своих штабов, они бежали. Наскочившие друг на друга, опрокинутые, сцепившиеся колесами, с разбитыми моторами стояли и лежали грузовые и легковые автомобили, орудия и повозки по улицам и площадям...

А несмолкаемое «ура» в грохоте выстрелов, в огне снарядных разрывов, в реве моторов разливалось все шире и шире, как море.

В этой победе была доля и нашего взвода. Не вечно нам охранять мосты. На этом посту нас сменил обычный стрелковый взвод молодых ребят, прибывших откуда-то из тыла, еще не бывавших в бою.

Лейтенант Мирошник вызвал меня и дал задание войти в город и разведать улицы южной окраины.

Мы вышли с вечера, ползли по задворкам, перелезали через заборы, ныряли в какие-то щели, обследовали дворы, выглядывали на улицу — всюду было темно и пустынно. В одном месте лежал опрокинутый трамвайный вагон, тут же, возле него, раскинув на мостовой руки, — расстрелянный вагоновожатый. Раза два нам встретились угрюмые немецкие патрули. Володя прислушался, сказал, что они говорят о морозе. А разве это мороз? Их бы к нам, куда-нибудь в Кустанай!

Мы проникли в занятый фашистами город не меньше чем на километр. Маленькая церковная площадь поперек улицы была перегорожена баррикадой, которая черной горой высилась между домами. Мы подползли к ней вплотную, долго прислушивались. По ту сторону баррикады подошла легковая машина. Кто-то выскочил ей навстречу, рапортовал. Володя толкнул меня, и под шум удаляющейся машины мы отползли к ближайшим воротам.

— На баррикаде три пулемета и десять солдат, — сказал Володя, передавая мне смысл солдатского рапорта.

Я оставил его наблюдать, а сам поспешил возвратиться, расставляя по пути своих разведчиков.

Лейтенант Мирошник ждал моего возвращения. Командиры других отделений уже собрались сюда. Они обследовали соседние со мной улицы города и доложили комвзводу обстановку. Едва я успел доложить и свои результаты, как в блиндаж лейтенанта вошел командир полка, а за ним и сам полковник.

— Ну, Сарталеев, какие у вас вести? — спросил он меня.



— Хорошие вести, товарищ полковник. Мои бойцы расположены на километр вдоль улицы.

— Хорошие вести! — одобрил полковник.

Нас отпустили. Начальство осталось в блиндаже командира взвода.

По множеству людей, перебравшихся через лед, я понял все: сегодня ночью мы будем снова в Ростове. Хотелось крикнуть «ура». Но люди двигались молча, была тишина, и никто ее не нарушал. Только с правого фланга упорно не смолкала пулеметная перестрелка да изредка рвались мины.

Переправившийся батальон, а может и полк, располагался под самым берегом... Слышался сдержанный глухой говор, окрики отделенных: «Разговорчики!»

В темноте я услышал родную казахскую речь и ринулся разыскивать земляков, но в это время голос лейтенанта Мирошника громко окликнул меня.

Мы снова ползли и перебирались по тому же, пройденному разведкой пути. Стояла такая же тишина, но мы уже знали, что сзади нас теперь движется батальон, а за ним, может быть, полк или дивизия.

В условленном месте встретил меня оставленный для наблюдения Ушаков, сжал руку, сообщая, что все в порядке и можно двигаться дальше.

Мы оставили головной взвод в засаде, в полусотне шагов от баррикады. Плечом к плечу со мной пробирался наш лейтенант. Навстречу нам от стены отделился Володя, шепотом сообщил, что только что прибыло целое отделение солдат в подкрепление на баррикаду.

Мы поползли, упираясь ладонями в зазеленелые булыжники мостовой, и всем отделением залегли под какие-то железные бочки и опрокинутые автомашины.

— Бросай! — раздалась команда Мирошника.

Каждый из нас бросил по две гранаты по ту сторону баррикады. Потом мы перемахнули через бочки. Колючая проволока впилась мне в ладонь и в ногу и разодрала штанину, но мы уже навалились на фашистских пулеметчиков. Из темноты улицы за нами сюда, к баррикаде, бежали сотни бойцов. Они без препятствий перелезли через баррикаду, разлились по площади и занимали дома. Вдоль улиц рвались гранаты, татакали пулеметы. Звуки битвы ударили в ночь...

Как нарастала битва, я, кажется, даже не слышал. Она кипела по всей южной части города. Она клокотала и разливалась в могучем победном крике. По улицам падали мины, рвались снаряды... Фашисты закрывали от нас центр города, поливая нас из пулеметов. Внезапно с тыла послышался

вдоль улиц грохот танков.

— Гранаты! — крикнул я. — Танки с тылу!

— Тише, Сарталеев, — остановил меня лейтенант. — Это наши идут.

«Может быть, „сталинградцы“», — подумал я и вспомнил Зонина.

Не обращая внимания на рвущиеся мины, на частые разрывы снарядов и пулеметный огонь, танки смело ринулись в темные улицы города, пробивая дорогу пехоте, ломая завалы и срывая колючую проволоку.

Рассветает. Передовые части бьются где-то там, за домами, за садами, бульварами, за чертой городских улиц.

Кто-то кричит на ухо, что с севера тоже ударили наши части и немцы бегут, бросая оружие.

«Немцы бегут». Как весело слышать эти слова.

Мы видим высокий дом, над крышей которого оскорбительно и мрачно колышется большое немецкое знамя с черным злобным тарантулом, растопырившим лапы. Это его гнусное дело — виселицы на площади и истерзанные трупы советских людей по улицам.

На могучие раскатистые звуки нашего «ура» из разбитых окон домов высовываются головы. Жители выбегают на улицы, кидаются к нам, но бойцам нет времени остановиться. Ветер победы несет нас дальше, вперед — бить врага, добивать, давить и стирать с лица земли.

Вот летит, летит конница. Вот над крышами тяжело ползут к западу самолеты. Утро уже позволяет нам видеть подвешенный под фюзеляжами бомбовый груз.

Они сбросят его в гущу спасающихся по дорогам фашистских машин и солдат.

Кто-то уже прежде нас вскарабкался на крышу высокого здания, и оттуда к нашим ногам, вниз острием, летит фашистское знамя с черным тарантулом, а на его месте взвивается красный советский стяг. Словно от этого, начинает быстрее светлеть. Восточный ветер сдергивает на миг облачную завесу, и солнечный луч озаряет гордое советское знамя. Оно повернулось к западу, указывая нам путь преследования.

Сотрясая тяжелой стальной поступью улицы и дома, проходит с востока колонна грохочущих танков. Она будет преследовать и давить ищущего спасения врага... Вот и наши родные машины, боевые машины, несущие гибель захватчикам.

Наперерез нам бежит из какого-то переулочка мальчуган в больших, явно не своих валенках. По тому, как он машет нам шапкой, нетрудно понять, что он весь переполнен счастьем. Он должен нам сообщить что-то очень важное и большое. Об этом кричит весь его вид, выражающий

требовательность и отвагу.

— На завод! На наш завод идите, товарищи. Они там... Там их много! — захлебываясь радостным волнением, сообщает он, словно где-то в лесу обнаружил много грибов или ягод. Разумеется, для него самое важное именно то, что он видел своими глазами. — Папа послал меня. Он их там караулит.

— Ну, раз караулит папа, значит, они не уйдут! — с усмешкой сказал Володя.

Мальчишка взглянул на него с обидой и не ответил.

Это наши кварталы. Очистка их от остатков фашистов — наше кровное дело. Сворачиваем в переулок за мальчиком. Он идет смело. Он даже не задержался, когда невдалеке ударила мина.

— Вот наш завод, — указал он.

Высокие корпуса завода — лишенные стекол, слепые — молчат. Давно ли тут было все полно движения и рабочего гула!

— Вот тут можно просто перескочить, — идя впереди, предлагает маленький проводник и показывает, как это сделать.

Огромная пробоина зияет над главным входом завода. Двор завален опрокинутыми вагонетками, какими-то тюками, обломками металла, бунтами толстой проволоки, битым кирпичом.

В опустелых цехах по углам и у стен через растворенные двери и выбитое стекло намело уже снегу. словно какие-то черные привидения, возвышаются неподвижные станки. Сорванные со шкивов ремни трансмиссий серыми дохлыми удавами бессильно путаются у нас под ногами.

Мальчик делает нам знак не шуметь. Мы видим у бетонной колонны человека с характерным обликом старого рабочего. Седоусый, со сдвинутыми бровями, в короткой черной теплой тужурке, с гранатой в руке, он молча кивнул, указывая через окно на соседний цех.

Из глубины цеха один за другим приблизились несколько человек рабочих с винтовками, с немецкими автоматами.

— Мы их караулим. Здесь их десятка два, из штаба эсэсовцев... Весь квартал был отрезан; они не успели удрать из заводского клуба и сбежались сюда.

— А вы как узнали?

— Мой пост был под крышей на чердаке, от отряда заводских партизан. Штаб эсэсовцев надо было взорвать, партком поручил это мне, — поясняет отец мальчугана.

Нас, разведчиков, — семеро, партизан — пятеро, а там двадцать

эсэсовцев. Я подал глазами знак бойцам и взял гранату. У всех в руках тотчас оказались гранаты. Парнишка просительно посмотрел на меня. Я молча дал ему в руки винтовку и взглядом указал его место. Он тотчас же, вцепившись в винтовку, замер, как часовой. Его отец посмотрел на меня благодарным взглядом.

Осторожно, словно переступая через лужи, большими шагами мы на цыпочках перебегаем двор позади указанного цеха. Тяжелые железные ворота цеха заперты изнутри. Несколько мгновений мы стоим в недоумении. Вдруг один из рабочих показывает наверх и беззвучно, одними губами, что-то шепчет товарищам. Те оживились. Оставив караул с гранатами у дверей, мы бесшумно поднимаемся на третий этаж по пожарной лестнице, а потом по темной и узкой внутренней спускаемся на второй. Отсюда нам слышны их голоса.

Фашисты чувствуют себя осажденными и готовятся к обороне. Они расставили пулеметы у окон. Железную дверь, перед которой мы оставили караул, они изнутри приперли каким-то станком. Изредка перекидываются одним-двумя словами и снова молчат, слушая город. О нашем присутствии они не подозревают, а между тем мы не только их слышим, но даже и видим через отверстия для трансмиссий, сделанные в полу. Никому из них не приходит в голову поднять глаза к потолку, а то бы они могли встретиться с нами взглядами.

Я примеряю диаметр гранаты — пройдет ли в отверстие? Володя занимает проход на лестницу в первый этаж. Он стоит за дверью в углу, держа автомат наготове.

В цементном полу четыре отверстия. Они не велики, но в каждое можно кинуть одновременно по две гранаты. Я знаком показываю товарищам, как действовать. Мы бросаем вниз одновременно четыре штуки, потом снова четыре... Снизу слышатся вопли и стоны. Кто-то дико орет:

— Капут! Гитлер капут!

Володя спускается по лестнице, держа автомат наготове. Мы за ним. В нижнем помещении с десятков фашистов уже лежат неподвижно, остальные почти все ранены. С воплями поднимают вверх руки. Жалкие, умоляющие, они просят о пощаде.

— Гитлер капут! — кричит особенно азартно один.

Он, разумеется, понимает, что до «капута» Гитлеру пока еще далеко, но всем существом своим отрекается от своего фюрера, чтобы остаться в живых.

Пленным показали знаками, чтобы они отодвинули станок,

припирающий дверь. Они с полной готовностью выполнили требование.

— Выводи! — скомандовал я.

Они сами стали попарно. Трое из них не смогли подняться.

— Приведите потом санитаров, — сказал я рабочим, — а сейчас забрать все оружие! Обыскать помещение!

Я сам начал осмотр. Вдруг кто-то сильно, как будто ударом бильярдного кия, толкнул меня в грудь. Весь цех повернулся перед моими глазами, и я упал. Но, падая, я увидел маленькую голову очковой змеи, которая пряталась за стальную громаду станка. Потом я услышал автоматную очередь... Я понял, что это Володя или Петя убили гада.

Меня подняли. Я сел, прислонившись к плечу старого рабочего. Он поддерживает меня за спину рукой. Опершись в колени руками, стоит передо мной наш провожатый — мальчуган. Он заглядывает мне снизу в глаза с выражением сострадания. Ему хочется спросить меня: «Дядя, больно?»

Володя, очевидно мне в утешение, вытащил из угла убитого эсэсовского офицера в очках, плюгавого, желтоволосого, тонкошеего, и бросил его возле кучи железных стружек.

Я с любопытством гляжу на своего врага — кто же он? Капитан СС.

Рядом со мной расстелили палатку. Ребята берут меня и осторожно укладывают. Я молчу. Я все время молчу, хотя вижу все. Но зрение туманится, с каждой секундой, а в ушах словно вата. Я, кажется, слышу слова, но они как-то плавают и смысла их не постичь...

Володя заглядывает мне в лицо и шевелит губами, но я уже больше совсем не слышу его голоса, хотя стараюсь глядеть и сохранять сознание. Я тоже что-то хочу сказать Володе. Сказать что-то нужное и очень дружеское, и, собрав все мысли, все силы, я говорю:

— Принимай командование...

Когда меня подняли, чтобы нести, я вдруг захотел еще раз посмотреть на того, кто в меня стрелял. Теперь он лежит спиной ко мне, уткнувшись лицом в кучу снега, короткий китель его вздернулся, задралась рубашка, и на оголенную тощую его спину ветер наметает мелкий холодный снег...

Меня несут... Я слышу лязг танковых гусениц. Это еще идут «сталинградцы». Сказать бы танкистам о смерти Семена... Наверное, его там многие знали — такой был большой и хороший...

Меня все несут. Вдоль улицы над нами летят самолеты. Вот эти похожи на транспортные, с такого мы прыгали с парашютом. Может быть, один из них ведет Шеген. Откуда ему знать, что я вижу его самолет?

Да, за эти месяцы, милый Шеген, у меня накопилось многое. Можно о

многом поговорить, товарищ капитан. Нет, я бы теперь не смущался и не молчал... Я думаю, я и тебе достойный товарищ...

Боль в груди становится острее. Мне хочется сказать товарищам обо всем, о чем говорили так мало... Почему-то не догадывались, а это ведь самое главное... Что главное? Я сейчас думал что-то такое важное! И вот потерял... Позабылось...

Как сквозь сон, слышу женский голос:

— Тяжелое... на машину, в эвакогоспиталь... Срочно...

Кто же это ранен? Может, Володя? Неосторожный малый, горяч! И как же я не уследил? Куда же его теперь отправляют? Ведь надо взять адрес...

— Ты, Костя, смотри добивайся, чтобы тебя направили снова к нам, — говорит Ревякин.

Акбота в белом платье ласково берет мою руку, держит повыше кисти. Я закрываю глаза. Хочу их снова открыть, хочу что-то спросить, но сплетение множества голосов заглушает мой лепет — кто-то ранен, кого-то надо отправить. Мои мысли тоже стали какие-то короткие, движутся рывками... Я даже их вижу, как они скачут: «Адрес... Володя... Семен... Акбота...»

— Гитлер не будет в Москве. Мы сорвали ему парад — это точно.

Я знаю, это сказал Ревякин. Он говорит всегда коротко и твердо. «Никогда! Никогда не будет!» — хочу я крикнуть, но чувствую, что голоса нет.

Я слышу, как воеет метель над Ростовом. Я слышу и вижу, как воеет и крутит метель над Москвой. А вот, уткнувшись лицом в снег, валяется гитлеровский эсэсовец. Сильный ветер треплет его соломенные волосы и, раздувая короткую вздернутую рубашку, намечает ему на тощую спину мелкий холодный снег...



## Часть третья

— **К**араганда! — возвестил проводник вагона, растягивая все четыре «а», заключенные в этом певучем слове. — Вот вы и дома! Родные, чай, встретят? — обратился он непосредственно уже ко мне.

Дома! «Дом» у меня так обширен, что на пространстве от Караганды до Гурьева можно свободно расположить две Франции или дюжину Швейцарий и Бельгий, а такая штучка, как «государство» Люксембург, спокойно поместилось бы на летних пастбищах двух-трех степных колхозов. От Парижа или Лондона до Берлина гораздо ближе, чем от Гурьева до Караганды.

Обширность наших казахстанских пространств, по-видимому, ввела в заблуждение и тех, кто в эвакогоспитале хотел послать меня на излечение поближе к дому, к родным и близким. Их добрые намерения заслали меня вместо Гурьева в Караганду.

В нашем эшелоне были и казахи, и сибиряки, и те, кто не мог быть послан в свою область, захваченную сейчас фашистами. У тех, кто не бывал в Казахстане, я заметил очень смутные и расплывчатые представления о нем. На эту тему шли разговоры все время, как только мы миновали Оренбург.

Студент-геолог Гришин, раненный в ногу, убежден, что в наших степях дует вечный сквозняк, и, как бы для того, чтобы не простудиться, все время подтягивает к подбородку шинель, накинутую сверх серого байкового одеяла. А в окна вагона, как нарочно, целыми днями бьется вихрастый буран, подтверждая представления Гришина о Казахстане, и он зябко ежится и умоляет проводника лучше топить.

Мне еще трудно спорить. Громкий и бурный разговор вызывает у меня болезненный кашель, и я не могу сказать ему, что почти такой же буран крутил и в Ростове в тот день, когда я был ранен.

Другой боец, с забинтованной головой, мечтает о Казахстане, как о стране солнца. Кажется, он думает, что у нас не одно солнце, а сразу несколько, — так ему хочется погреться сразу на всех этих солнцах, прожариться вдоволь, чтобы выгнать холод промерзших окопов, до сих пор не покидающий кости.

— А у нас под Чимкентом сейчас уже сеют, — робко возражает Гришину четвертый сосед, колхозник из Южного Казахстана.



— Сеют? В феврале?

— Сеют... Недельки уже две, наверное...

За окнами вагона играет оркестр. В вагон входит делегация «казахстанской кочегарки», встречающая наш эшелон. Молодой, невысокого роста коренастый казах, очевидно, возглавляет представителей разных организаций Караганды — в его приветственной речи не раз прозвучало слово «обком». За ним стоит молодая женщина — казашка в черном пальто с каракулевым воротником. Ее смуглое, мягкого овала лицо разругалось от мороза. Живые карие глаза часто меняют выражение; они так же быстро вспыхивают улыбкой, как заволакиваются печально или поблескивают тревогой. Она напряженно всматривается в каждого из нас, у кого забинтована голова и чьи черты невозможно узнать сразу. Все больше увлажняются ее карие глаза, которые обращаются к каждому с одним и тем же вопросом: «Почему это ты, а не он?»

Конечно, она встречает не только нас. Она не теряет надежды найти среди нас того, кто ей дорог...

Да, милая, кое-кого мы уже не увидим, не встретим! Пусть вас утешают и пусть вам помогут жить его честные подвиги, гордость его геройством, святая память о том, кто был отцом ваших детей и верным сыном нашей великой родины. По вашим глазам видно, что вы не хотите мириться с этой потерей, вы ждете, вы ищете его в каждом эшелоне. Желая от всей души, чтобы вы его все-таки встретили.

— Ваш шеф, — познакомил нас с ней представитель обкома. — Культурой командует в области, товарищ Куляй Даниялова.

Еще на перроне, когда нас выносили в машины, на нас повеяло дыханием полумиллионного города. Как гряды высоких, тесно сдвинутых холмов, поднимались над близко расположенными одна от другой шахтами терриконы. Теперь, ночью, они горели тысячами синеватых огоньков, перемигивавшихся с огнями города. От этого казалось, что город расположен на множестве холмов и в ущельях между ними.

— Что это? Разве Караганда в горах? — спросил меня удивленный Гришин.

— Нет. Горы соорудили для защиты от сквозняков, — сказал я.

Сопровождавшая нас Даниялова охотно стала ему пояснять, что это отвалы выброшенной породы, в которых происходит самовозгорание мелких частиц угля.

— Как же я сам-то не понял, вот пентюх! — вслух упрекнул себя Гришин.

— А ваша специальность какая? — осторожно спросила женщина.

— Я? — Гришин смутился. После того, как он попал впросак с терриконами, ему неловко было назвать себя геологом, и он неопределенно ответил — Да я еще так... студент...

Машины остановились у большого здания в новой Караганде. Нас радовало, что город ярко освещен, как в мирное время. Никто из нас не ожидал увидеть здесь, в степи, такой огромный город, даже я. Один из воспитанников нашей деткоммуны, сын умершего шахтера, рассказывал мне о Караганде. Но он знал ее, какой она была десять лет назад, а по нашей советской арифметике десятилетие — это две с половиной пятилетки, каждая из которых равняется сотне лет царского времени. За две с половиной сотни лет, естественно, вырастают новые города на месте поселковых лачужек. Легко шагая через столетия, степные люди, такие же, как моя мать, строили этот город надолго, строили для себя, для своей Советской страны.

— Не хуже центральных кварталов Москвы, — признал Гришин.

— А вам не сквозит? — спросил я.

Мы растеклись по этажам и широким коридорам расположенного в новом здании госпиталя, одни — на носилках, другие — на костылях, третьи — опираясь на заботливые и крепкие руки сестер.

Нашей группе досталась шестая палата, и каждый стал вспоминать что-то из чеховской «Палаты № 6». Но между этими палатами стояло не просто время, но и его содержание, отличное по духу и смыслу.

В палате было уютно. Посредине стоял заботливо, как-то домашнему накрытый скатертью стол, украшенный цветами в горшках. Лампы были под мягкими матовыми абажурами, голоса сестер ласковы, их движения легки и молоды, и от всего этого стало тепло и спокойно.

Утром, после обхода врачей, к нам зашла наш «шеф» Куляй, которую мы очень быстро переделали в «Гулю». Она спросила, кому чего не хватает, затем стала расспрашивать каждого, кто с какого фронта. По тому, как она интересовалась Украиной и особенно Харьковом, я понял, что тот, кого она потеряла, дрался с немцами где-то на украинской земле.

— Ведь бывают же все-таки в извещениях ошибки? — не выдержав, прорвалась она.

— Ну еще бы, сколько угодно! — ответили мы с Гришиным в один голос и притом так убедительно, словно не раз испытali уже на самих себе эту ошибку.

Однако я знал, что в извещении о Зонине, например, к сожалению, ошибки не будет.

Нам хотелось, чтобы эта совсем еще молодая женщина поверила нам и

жила надеждой. И все мы, каждый в меру способностей, рассказываем ей, как легко человек может «попасть в переplet» и как иногда он из него выходит, даже и не задетый пулей (мы понимаем, что безопаснее говорить о пулях, чем о снарядах и авиабомбах).

Суровое дыхание войны ощущалось и здесь, в глубоком тылу. Женщина одним взмахом густых, хотя и не длинных, ресниц смахнула печаль со своих глаз и стала серьезной и деловой.

— Кому нужно, товарищи, написать домой или друзьям на фронт? — спросила она.

Было понятно, что мы не первыми проходили через ее маленькие руки.

Попавшая в меня пуля эсэсовца наискосок прошла сквозь грудную клетку и засела в лопатке. Я вынужден пока еще смирно лежать и сам писать не могу. Поневоле я доверяю свои письма другим.

Первое письмо мое было адресовано Володе Толстову. Я рассказал ему, где нахожусь, просил его обратиться к Ревякину, чтобы по выздоровлении мне помогли вернуться в свою часть.

Второе письмо мы писали долго, но дописать так и не смогли. Оно обращалось к моей матери, но порой явно сворачивало в какой-то другой адрес: надо было наконец выяснить, что с Акботой, а у меня не поворачивался язык назвать ее имя перед другой женщиной, которая, как мне казалось, внимательно следит за каждым хитрым изгибом моих мыслей. Некоторые вещи женщины понимают гораздо быстрее и глубже мужчин. Взгляд Гули невинно поощрял и настаивал: «Ну, назови ее. Ничего тут плохого нет... Ну, назови, а я подберу для нее самые ласковые и сердечные слова...»

Дело кончилось тем, что мы написали матери телеграмму: «Нахожусь излечении госпитале Караганде приезжайте Костя». Когда Гуля написала «приезжайте», она взглянула на меня с едва уловимой хитрецей, но я все-таки выдержал.

Остальные товарищи пишут сами и, конечно, улыбаются, глядя на мои затруднения.

Колхозник из Южного Казахстана, уже немолодой Абен, до войны чабан, а теперь рядовой, несколько простоват и плохо умеет скрывать смущение.

— Жене можно писать «милая»? — обращается он ко мне.

— Почему нельзя? А кого же еще можно звать таким словом? — быстро вмешалась Гуля.

Абен, конечно, любит свою жену, но он, как и все казахи, не привык называть жену «милой». «Карагым катын» (по-русски это звучит как

«милая баба») смешно и нескладно. Он долго сидит задумавшись и наконец, найдя выход, поделился со всеми своей находкой:

— Написал! Вот слушайте: милая Батия!

Для него это было большое открытие: он написал слово, которое пробило вековую кору привычных отношений, принадлежавших давно ушедшему байскому и рабскому строю. Это действительно большая находка!

Но нас не может надолго оставить общая наша забота, заключенная в слове «война».

Гуля читает нам сводки с фронтов и из тыла. Дела идут совсем не плохо. Наступление немцев на Москву получило теперь название «Разгром гитлеровцев под Москвой». Война отшатнулась под нашим могучим ударом, но она еще не покатила обратно на запад.

Газета в госпитале — постоянный и любимый гость, и мы горячо обсуждаем все, что произошло на фронтах за последнее время, и в частности то, что свершилось под Москвой.

— Это — начало крушения фашистской империи! — торжественно заключил Вася Гришин и, смутившись, поправился: — Гитлер начал подыхать, факт!

— Собака на людях никогда недохнет. Он к себе побежит подыхать. Язык высунет — так побежит, а я — за ним! — горячо воскликнул Абен, склонный во всем искать практическую цель.

— А ты зачем? — удивился Гришин.

— Догонять! Нельзя выпускать! Он живуч, как змея, добить надо!

С любопытством, смешанным с некоторой тревогой, я ожидал, что скажет об этих событиях Гуля. Что скажет эта молодая казашка? Способна ли она оценить смысл фашистского разгрома под Москвой во всей его исторической глубине? Или она ограничится поздравлением с победой и заменит серьезную мысль обаятельной улыбкой?

Нет, мысль у Гули работала четко, и в груди ее трепетало жаркое сердце дочери своей родины. Она по-своему ощущала события, сотрясавшие мир.

Презрение свободного и непобедимого народа зазвучало в ее словах, когда она заговорила о тех, кто предательски распахивал перед Гитлером ворота европейских столиц.

— И стыд не задушил их, когда, упав на колени, они лизали его сапоги! Видно, мы по-разному понимаем слова «гордость» и «честь».

Мягко и незаметно она перешла к другому образу. Среди грохочущих волн неколебимо высится могучий утес. Волны, разбиваясь, откатываются

от этой твердыни, имя которой — Москва. Знамя коммунизма развевается над ней, и потому покорить ее невозможно.

И вдруг, повернувшись к Гришину, она спросила:

— А почему вы так изменили свои первые слова? По-моему, вы верно сказали: «Начало крушения фашистской империи»!

— Может быть, — замялся Гришин, — но мне показалось, что это немного пышно.

— Пышно, но правильно. От крушения им теперь никуда уже не уйти. Трещина появилась, фашистский лагерь раскалывается.

Мы все понимали, что впереди нас ждут еще тяжкие дни и месяцы трудной и грозной войны. Мы сознавали, с каким сильным врагом столкнула нас история, но мы знали и то, что разгром под Москвой уже вызвал разложение этих разноязычных полчищ смерти.

И Гуля, и Вася Гришин повторяли то, в чем давно была уверена наша страна и о чем теперь везде говорилось. И понятно, все мы единогласно приняли формулу: «Разгром под Москвой — это начало крушения фашизма».

В тылу хорошо следят за всеми событиями. Здесь уже знают о том, что Гитлер хотел, чтобы оскорбление нашей страны и нашей столицы было увековечено монументом. Он тащил с собой семнадцатиметровую колонну розового мрамора с серебристо-зелеными прожилками, чтобы водрузить ее в Москве в честь победы звериного царства фашизма над страной великих надежд всего человечества.

Был у него припасен подарок и нам, казахам. В хвосте своего обоза обнаглевший бандит отвел место бывшему кокандскому хану Чокаеву, чтобы посадить его на шею казахского народа, когда Казахстан станет колонией «арийских» банкиров. Он надеялся, что «хан» сумеет смирить забывших о рабской покорности «азиатов», отвыкших уже от ярма.

Тыловые сводки также радовали нас: советский тыл давал фронту не только то, чем владел до войны, но и то, что, по планам мирного времени, должно было родиться в нашей стране еще лишь спустя несколько лет. Люди совершали дела, казавшиеся невозможными.

— Производственная нагрузка каждого часа в Караганде увеличилась втрое, — сообщает нам Гуля.

И мы понимаем, что, когда мы бились на фронте, здесь тоже не щадили себя для победы.

В переключке сирен заводов и шахт Караганды мы слышим строгий приказ родины. Простые слова Гули раскрывают перед нами богатства области, дни и ночи неустанного человеческого труда, как страницы

большой книги. Эта маленькая казахская женщина может говорить о Караганде так, что напряженная и сложная жизнь всесоюзной кочегарки видна нам во всех подробностях.

Гуля не ослабляет своей работы, доверенной ей в это тяжелое время партией: вопросы культуры отнюдь не отодвинуты войной на задний план. Люди должны научиться понимать многие вещи, и русло для их познаний прокладывает эта простая миловидная и молодая женщина. Но все же она почти каждый день успевает хотя бы ненадолго заехать и к нам.

— Я тут очень близко живу, — поясняет она, когда кто-нибудь, видя ее усталость, говорит, что ей лучше было бы поспать, чем тратить время на нас, — и к вам захожу по дороге домой.

Особенно привязался к ней Гришин. Он задает ей вопросы, словно какому-нибудь хозяйственнику большого масштаба или профессору геологии.

— И все эти богатства уже освоены?

— Ну не все еще! — снисходительно отвечает она. — Ведь наша степь с первого взгляда кажется однообразной, а на деле тут такое разнообразие! Геологам порядком еще придется поработать.

— И работают они? — требовательно и нетерпеливо спрашивает Гришин.

— Конечно. Но ведь всего не изучишь сразу.

Что волнует Гришина? То ли, что перед его глазами встали богатейшие просторы для работы, геологические загадки, раскрытие которых так соблазнительно для каждого геолога, или то, что маленькая казашка так свободно ориентируется в сокровенных тайнах родной земли?

Гуля вдруг добавляет:

— Вы, как геолог, должны были слышать о письме английского капиталиста Лесли Уркварта к советскому правительству. Он просил разрешения «поковырять» именно в этих степях. По его мнению, сами мы могли бы добраться до этих богатств не раньше, чем через полсотни, а то и через сотню лет.

Гришин оборачивается ко мне с таким выражением, как будто я все это скрывал от него. Я не вытерпел. Гордость за родной Казахстан поднимает меня.

— Ну как? — торжествующе спрашиваю я, сам не думая, что означает это мое «ну как».

Но Гришин понял меня.

— Поразительно!

— То-то! Может, после войны захочешь приехать сюда...

— А что же! Мне только тут и работать! Тут будет нужно столько людей...

Почему-то сразу же после этого он стал звать меня Костей, а я его Васей.

## II

В последние дни все пошло совершенно иначе, чем я ожидал и надеялся. Огорчения сыпались на меня одно за другим. Неприятности почему-то не любят ходить в одиночку. К двум всегда старается прицепиться третья. Жду третьей.

Акбота, которая три раза в день писала мне, что приедет ко мне, не приехала. Я увезу с собой из госпиталя лишь тридцать пять ее писем и семь телеграмм, приносивших мне в разной степени радость и счастье, и заключительную, восьмую, которая подсекла под корень все мои ожидания и надежды. Все это скромно можно считать за одну неудачу.

Вторая неприятность постигла меня в моих попытках поскорее покинуть госпиталь. Вот уже несколько дней я веду переговоры с врачом. Я веду их в изысканных выражениях и очень деликатно. До этого я был и умным, и дисциплинированным, и образцом здорового аппетита, и лучшим госпитальным певцом. Мне разрешались и гимнастика, и экскурсия в город — все шло на лад. Но теперь врач переменял свое мнение: он подозревает, что я все это «продельывал», чтобы только добиться скорейшей выписки. Гимнастика отменена, введено строжайшее измерение температуры, дисциплина моя подвергается критике и вызывает недоверие, а то, что я ем за троих, его совершенно не интересует. Он говорит, что «это бывает». Даже показания такого объективного свидетеля, как рентген, он подвергает сомнению и хочет «проверить сам».

Это вторая моя неудача. Правда, я добился все-таки назначения на комиссию. Но кто знает, что там они решат? А пока что моя настойчивость вызвала недовольство госпитального начальства.

К тому же Вася, прибывший вместе со мной, Вася Гришин, у которого были серьезные осложнения и никак не могла закрыться в течение нескольких месяцев рана, признан здоровым и завтра идет на выписку.

В войне и так часто теряешь друзей и знакомых. Мне не хочется расставаться с Васей. Может быть, если нас вместе выпишут, то вместе же и направят в одну часть. А повезет, так обратно в мою часть, к старым друзьям, с которыми Вася успел заочно уже давно познакомиться.

А как все шло хорошо вначале!

«Мама выехала, непременно приеду после окончания курсов. Обязательно, — телеграфировала мне Акбота. — Подробно письмом».

Потом приехала мама. Она была полна радости, ее перекидные



ковровые сумки были полны всякой всячины.

— Вот это тебе, мой жеребеночек. И это вот тоже тебе, мой ягненочек. Вот еще тебе, вороненочек мой.

Я был превращен еще и в козленочка и во множество разных других маленьких нежных созданий. Что для матери режим и порядки госпиталя! Она прилетела сюда, как орлица, услышав через горы и степи, что птенец ее вскрикнул от боли.

Мать бросилась ко мне у парадной двери во втором этаже госпиталя, куда я контрабандой спустился, чтобы встретить ее. Это было уже две недели спустя после того, как мне вынули пулю и я считал себя в силах спускаться по лестнице. Совершая этот проступок, я побаивался врачей и сестер, но мать оказалась опаснее их всех: она рассердилась, что здесь за мной плохо смотрят и позволяют вставать с постели. Она почти несла меня на руках по лестнице и по коридору, в нашу палату.

Я сказал матери, что уже здоров, совсем не чувствую боли и держат меня теперь просто для отдыха.

Но ее уже выцветшие глаза долго и пытливо всматриваются в меня. Они доверяют только себе. Однако я выдерживаю это трудное испытание: силы действительно возвращались ко мне со сказочной быстротой, и ребро, перебитое пулей, уже позволяло не только дышать, но и двигаться, а внешне я выглядел уже совершенно здоровым.

Мама долго глядела и, убедившись по моему виду, что я здоров, с улыбкой вытерла глаза.

— Я так и знала, — прошептала она.

Матери всегда думают о своих сыновьях только хорошее. Они не могут позволить беде настичь своего детеныша, а если она случается, то всегда свято верят, что все дурное минует.

Мать привезла мне с собой самое верное средство для моего окончательного исцеления: свою материнскую любовь и сразу несколько писем от Акботы. Видимо, как только мать начала собираться в дорогу, Акбота писала мне каждый день и все отдавала матери, как верному почтальону. В каждом письме Акботе не хватало еще какого-то ласкового слова, и она садилась за новое, чтобы высказать его.

И вот я читаю письма, а мать сидит рядом со мной и пытливо читает все то, что отражается на моем лице. И, пожалуй, по моему волнению она понимает больше, чем сам я по письму.

— Мы с Акботой сначала связали тебе верблюжью фуфайку, а потом она говорит: «Вези и вот это». Ну, ей, конечно, уж лучше знать...

Мать обо всем говорит не «я», а «мы с Акботой». И теперь уже,

оказывается, Акботе, а не матери стало «лучше знать», что мне нужно.

Стояла уже весна, а мать была бригадиром в колхозе по огородам. Ее заботам было вверено ровно сорок четыре гектара. Мать ожидали трудовые дни весенних посадок. Поэтому она не могла пробыть здесь долго.

— Время такое — война, мой Кайруш! — сказала она так просто и привычно, что я даже не удивился.

Вся страна отдавала свои силы для победы. Конечно, вдова, инвалид гражданской войны и мать молодого воина должна была тоже трудиться для нашей общей победы. Мне были радостны ее посещения. Мне было тепло от ее материнской ласки, и я не устал расспрашивать ее о моей Акботе, которую она уже считала своей невесткой. Да мать и не давала мне времени для расспросов. Она сама все время агитировала меня в пользу «белого верблюжонка», очевидно еще не совсем уверенная в моем полном согласии с ней по этому сложному и щекотливому вопросу.

Я не хотел, чтобы она уезжала, но не смел и удерживать ее.

— Да и Акбота там осталась одна, — добавила мать. — Только что вернулась с каких-то курсов из города, недолго вместе пожили, а я вот уехала. Надо о ней позаботиться и о тебе рассказать ей — ведь знаешь, как ждет! Сказала — справится с делами и тоже к тебе приедет.

Мать осторожно поджала губы и испытующе посмотрела на меня, словно требуя моего окончательного и прямого ответа.

— Пусть Акбота хорошенько заботится о тебе, мама. Я ей об этом пишу. Она прочтет тебе вслух, — сказал я, чтобы ее окончательно успокоить.

Успокоенная и посветлевшая, мать уехала домой.

Как мне хотелось бы одарить их обеих бесценнейшими дарами, но, кроме случайных сереньких фотокарточек, у солдата нет ничего. Однако я дал ей то, чего больше всего хотело ее материнское сердце: я подтвердил ей мою любовь к Акботе.

Но Акбота ко мне так и не выехала. Она не смогла приехать. Она была заведующей районной метеостанцией. И мать понимала так, что без сведений о погоде вся жизнь в колхозе остановится. Она, кажется, воображала, что при помощи мудрости, обретенной на курсах, ее дорогая Акбота может распоряжаться дождями, ветрами и солнцем.

Недели через две после отъезда матери я начал ждать новую гостью. Она не появилась. Я ждал третью неделю, месяц... Но вместо нее дождался лишь последней, восьмой телеграммы, в которой стояло жестокое и непонятное: «Не могу». Что стряслось?

Понимает ли Акбота, что этим своим «не могу» она опрокинула все,

что так пылко писала раньше? Ведь теперь перед каждым словом во всех ее тридцати пяти письмах встало это же самое «не». Все то, что до сих пор шептало мне нежное и манящее «да», теперь превратилось в кричащее «нет».

Кажется, именно это заставило меня особенно торопиться с выпиской, но зато и произвело неверное впечатление на врачей. Разумеется, я загрустил от досады, мне было не до еды, не до шуток. Я и в самом деле слегка осунулся. А врачи заподозрили вдруг, что ранение в легкое не прошло для меня даром. Они затеяли снова проверку температуры, анализ мокроты, рентген.

Единственным утешением в эти дни были для меня частые письма политрука и Володи. Ревякину не было дела до всей той душевной сумятицы, которую переживал его старший сержант вдали от родного подразделения. Он словно оставляет свободным мое место в каждом новом окопе и торопит меня поправляться и приезжать. Не так-то это просто, как кажется издали!

Володя мне пишет, что Сергей вернулся из госпиталя. Сам он, вместе с Сергеем и Петей, вступил в партию, а Петя получил орден Отечественной войны. О своих наградах — ни слова, но намекает на то, что, вероятно, и меня ожидает какая-то радость в связи с Ростовом.

— Ну, танцуйте, вот вам, — дружески улыбаясь, говорит мне главврач, выходя из кабинета, где мы проходили комиссию. Он подает мне запечатанную девятую телеграмму. — И можете ехать вместе с вашим Гришиным. Выписываем. Поздравляю...

Я, разумеется, весело оттопал шлепанцами чечетку, не столько за телеграмму, которую не успел прочесть, сколько для доказательства полного выздоровления и готовности ехать.

Врачи — удивительные люди. Они заботливы и ревнивы к тебе, лишь пока ты болен. Тогда ты интересен, они думают даже о содержании твоих писем и телеграмм, расспрашивают, как дела дома, что пишет любимая девушка. Все это, пока ты их пациент. Но как только выздоровел, ты становишься сразу неинтересен для них, и твое место занимает другой раненый, на которого обрушивается волна их забот и участия.

Главврач обрадовал меня, но в тот же момент я перестал для него существовать, и он ушел.

«Радость к радости!» — заклинаю я по детдомовскому обычаю и осторожно вскрываю телеграмму, уверенный, что она от Акботы.

И вдруг, как будто тут, в Караганде, перед самым госпиталем, разорвался немецкий снаряд, — так поразило меня ее содержание.

«Выехала на фронт. Адрес сообщу домой маме», — телеграфировала Акбота.

«Домой» — это, конечно, хорошо, даже очень тепло. Но все-таки для чего «председатель дождей, командир ветров и начальник тепла и холода», как я называл ее в ответной полсотне писем, для чего этот ученый организатор климата вдруг поскакал на фронт? Уж не разить ли немцев небесным громом?

Где и как нагоню я теперь мою Акботу на бесчисленных путаных и трудных дорогах войны?

Утром мы вместе с Гришиным выбыли на «пересылочный» пункт, как называли его бойцы.

Прежде всего я воззвал к партийной совести комиссара пункта, старшего политрука Тарасенко, уверяя его, что мне совершенно необходимо попасть именно в свою часть, где меня знают и где, если бы не это проклятое и глупое ранение, я должен был вступить в ряды партии.

Я стараюсь стоять перед ним молодцевато, восстанавливая боевую выправку бойца гвардейской дивизии, утраченную за месяцы госпиталя.

Он сосредоточенно перелистал единственной уцелевшей рукой листочки моих документов.

— На командирские курсы, учиться, старший сержант! — заключил он.

— Товарищ старший политрук! — умоляюще возопил я и сам почувствовал что-то смешное, детское в своей интонации. — Да как же мне быть-то?

Я был готов обещать ему окончить хотя бы Военную академию, но чтобы это было только после войны, после взятия Берлина.

Но этим комиссара нельзя было удивить. Каждый боец Красной Армии, даже и отступая, даже бессильно прижатый огнем к топкому дну размытого дождями окопа, обязательно думает, что ему надо быть в Берлине и что без него Берлина не взять. Старший политрук Тарасенко, конечно, так же думал и сам, пока не потерял правую руку и не попал на этот далекий и скучный пересыльный пункт.

— Надо же готовить командиров из казахов! Вы человек со средним образованием. Удивляюсь, как это так вышло, что вы оказались вдруг в армии рядовым! — неумолимо говорит комиссар, и правая рука его, еще не отвыкшая от привычки работать, сделала движение потянуться за ручкой, чтобы запечатлеть свою резолюцию. Но культипка слегка пошевелилась в рукаве и смирилась. — У нас везде «своя часть»! — довольно резко отрезал он на все мои доводы и заключил: — Не просите. Ничего не выйдет.

Это заставило меня прибегнуть к последнему средству: я вытащил все письма товарищей — Володи, Пети, вернувшегося из лазарета Сергея и политрука Ревякина. Я положил их на стол, как веское доказательство в мою пользу.

— Это тут от какой-то женщины, — сказал он с чуть заметной усмешкой, косо взглянув на верхнее письмо.

Я поспешно спрятал последнее письмо Акботы.

— Извините, товарищ комиссар.

Как ни странно, но именно это письмо произвело перемену в настроении комиссара. Он усмехнулся, глаза его потеплели, и тон стал другим. Жена и дети всегда смягчают сердце военных людей. Может быть, именно потому, боясь потерять нужную суровость, они не любят говорить на эти темы.

У меня появилась надежда уговорить его.

Преодолевая свое нежелание, комиссар явно для того, чтобы все-таки не согласиться со мной, придвинул к себе пачку моих писем и, почти не глядя, перебирал их.

— Политрук Ревякин? — вдруг вопросительно уставился на меня комиссар.

— Так точно, товарищ старший политрук, политрук Ревякин.

— Миша Ревякин? Как его звать — Михаил?

— Так точно, товарищ комиссар, политрук Михаил Иванович Ревякин.

— Вот он где, окаанный! Там, значит, в Ростове, сидит?

— Так точно, в Ростове.

— Да мы же ведь с ним вот какие дружки!

— Так точно...

— Мы с ним вместе были на курсах в Харькове. Он из Курска ведь сам-то?

Я не успевал отвечать, потому что обрадованный комиссар выпускал свои фразы со скоростью пулемета. Но мне хотелось подтвердить каждое его слово, так же как ему хотелось убедиться в своем открытии. Наверное, я отвечал бы ему утвердительно, даже если бы это был и другой Ревякин: по тону голоса комиссара я понял, что это имя открывает мне путь к возвращению в часть.

К счастью, наш политрук был именно тот, кого так хорошо знал Тарасенко.

— Чего же ты из меня выматывал душу? Ты бы сразу мне так сказал, что Ревякин тебе приказал возвращаться...

Боевые друзья, ожидающая меня впереди какая-то радость, вступление

в партию — все приближалось ко мне. На последнее замечание было трудно ответить толково, и я уже кое-как пробормотал:

— Так точно... Он приказал...

— Если он тебя ценит и если уж ты так там нужен, тогда поезжай. Мише надо помочь... Поезжай... Письмо от меня отвезешь.

— Отвезу, товарищ комиссар.

— Да садись ты, садись, расскажи, как он там? Как вы с немцами дрались? В каких местах? Ты мне все расскажи по порядку.

Все стало вдруг просто и ясно.

Мы сидели с ним больше часа. Я рассказал ему весь наш путь, пройденный вместе с Ревякиным. Но передо мной стояла другая задача — выручить Гришина.

Из беседы я выяснил, что Тарасенко был горняк, партийный работник в Донбассе и только в последние годы попал на военную службу, оставаясь в душе горняком. После войны он не думал покинуть Караганду, наоборот — он ее любил, он видел ее будущее. Успевшая вовремя эвакуироваться, его семья жила здесь же, и жена его, горный техник по углю, в дни войны стала штейгером в Караганде. Я увидел в нем патриота Караганды и понял, что Вася Гришин имеет свои преимущества в том, что он успел тоже влюбиться в Караганду и в одну из карагандинских работниц.

Нет, Вася, конечно, не кинул на нашу умницу Гулю ни одного нескромного взгляда, он не сказал ни одного слова, сколько-нибудь выходящего за пределы общей беседы. Но когда она собиралась, бывало, уйти из палаты, он так умоляюще смотрел на меня и товарищей, что я задавал ей новый вопрос о фронте, о казахстанском хозяйстве или о международных отношениях, чтобы задержать ее еще на несколько минут.

Я думаю, даже если любимый ею человек найдется и если она будет снова счастлива с ним, Вася все-таки возвратится сюда.

В день выписки из госпиталя, когда уже были оформлены все документы, мы еще добрый час собирались и подгоняли обмундирование, пока не долетел до нас знакомый гудок «ее» синей машины. Вася выскочил вон несмотря на то, что не успел подобрать себе сапоги.

В последней беседе с маленькой Гулей я попросил у нее разрешения нам обоим изредка писать о себе и справляться о ней. Она записала адрес в мою книжку.

Рассчитывая договориться с комиссаром о Васе, я надеялся на искренний интерес моего друга к разработке карагандинских недр. Я думал, что, если Вася поговорит с Тарасенко, они найдут общий язык и договорятся. Я стал рассказывать комиссару про Васю.

— Скажи ты, пожалуйста, а! Пусти бабу в рай, она за собой и корову тащит! — воскликнул Тарасенко с таким дружелюбным упреком, что я перестал сомневаться в успехе своего нового предприятия.

Тарасенко разоблачил меня, но тем не менее Гришин был вызван в кабинет комиссара и получил, как и я, закрытый пакет.

Так же, как и прибыли, ночью, но только мягкой, летней, покидали мы Караганду, с трудом отрывая взгляд от величавых терриконов, покрытых морем огней. У окна вагона еще раз мелькнуло лицо Гули. Она махнула нам своей маленькой ручкой. А глаза ее светились теплом и передавали привет всему нашему фронту и тому одному-единственному, кого мы, может быть, все-таки встретим.

Ведь бывают же в извещениях о смерти ошибки!

### III

Если бы я был писателем, то, наверное, считал бы, что сходные положения не стоит описывать. Особенно избегал бы я повторений в описании таких неприятных и тяжелых для бойца операций, как отступление.

Но особенность больших войн заключается в том, что они не считаются ни с читателем, ни с писателем и не обходятся без некоторого однообразия и повторения.

Правда, эти повторения всегда только кажущиеся. На каждом следующем этапе одна сторона находится ближе к победе, другая — к поражению. Одна слабее, другая набирает сил. Но и слабеющая сторона тоже спешит и делает отчаянные попытки разбить противника, прежде чем он вполне подготовлен к тому, чтобы нанести ответный, достаточно мощный удар.

Я добрался обратно в свою часть в один из невеселых дней нашего отступления по Кавказу. Товарищи не успели даже как следует рассмотреть меня и вдоволь мной налюбоваться. Я думаю, им хотелось бы расспросить меня о глубоком тыле, как он выглядит, чем он дышит, надежно ли и спокойно ли бьется его сердце.

Сам я ехал с мыслью о том, что везу из тыла уверенность в наших силах. Я видел в пути обгонявшие нас эшелоны здоровых и крепких бойцов, видел длинные и тяжелые поезда, перед которыми открывались вне очереди все семафоры. В глубочайшем тылу я видел на дорогах тяжелые стальные машины на широких гусеницах; я видел, как бог знает где, далеко от фронта, кружатся в небе, сверкая на солнце, десятки жужжащих моторами новых самолетов. Я видел поля высокой и колосистой пшеницы и даже выскакивал из переполненного вагона, чтобы коснуться ладонью ее щетинистых и тяжелых колосьев. Я вез им столько бодрящих рассказов об угле Караганды, о меди, о марганце... Впрочем, нет. Эту последнюю тему я, конечно, оставил для Васи, который прибыл со мной. Я побаивался, попадет ли он в наш взвод, но все обошлось отлично. В эти дни никто не давал пополнений, и бойцы, адресованные непосредственно в данную часть, принимались без лишнего разговора.

Обоих нас сразу направили во взвод Мирошника, и, не теряя времени, Мирошник мне приказал:

— Товарищ старший сержант, принимайте свое отделение.



Война уже уперлась в отроги Кавказа. Хмуро смотрит громада Казбека, хмуро сдвинуты под белой папахой седые брови, и грозное дыхание его отдается гулом в ущельях, раскатисто отражаясь от скал. Из каменной груди ухают пушки по наступающему врагу. Но из каждого мало-мальски удобного и достаточно широкого прохода лезет на нас с грозным хрюканьем тупое свиное рыло танка.

Тяжело раненный под Москвой, враг оправился, снова собрался с силами и тянет когти к Сталинграду, к Волге. Танки в бешенстве рвутся на Дон и через ущелья Кавказа — к Грозному.

Мое новое место оказалось среди моих старых друзей, при первой партии хорошо обученных боевых собак. Эта понятливая, хотя и бессловесная, команда истребителей танков состояла из милых мне с детства, не очень породистых, не очень чистокровных по-арийски, но вполне нормальных разномастных дворняжек.

Вперив в меня молящие голодные глаза, они все ждут, когда я выведу их и укажу, под каким из немецких танков искать еду.

Мы сидим почти у самой дороги в замечательно защищенной со всех сторон пещере меж скал, обросшей невзрачными серенькими кустами. Мы пробрались сюда ночью и заняли эту позицию впереди оборонительного расположения заслонов. Мы — крайний арьергард отступающей армии, и мы же — передний край нашего заслона.

В нашей пещере есть свое маленькое чудо: на самом дне ее собирается в выемку родниковая вода — как раз на одну солдатскую фляжку. Вода не поднимается выше одного и того же уровня, но и не опускается ниже. Только осушишь ее до дна, как сейчас же выступит снова все та же неисчерпаемая фляжка воды.

Справа и прямо против нас расположилась немецкая пехота и через наши головы поливает огнем наше расположение. Окапываться здесь нет никакой нужды. Весенние горные воды создали здесь в течение многих веков такое множество складок, что в них можно укрыть целые дивизии.

Немцы сегодня там, где мы были вчера. За ними широкая долина с колхозными полями, а дальше — аул в дремлющих тенистых садах плодоносных деревьев.

Сережа и Вася Гришин залегли со снайперскими винтовками за большим камнем у самого входа в пещеру и не торопясь, на выбор, снимают немецких офицеров, которые даже не смотрят в нашу сторону, озабоченные подавлением огня подразделений, лежащих за нами. Им невдомек, что передний край обороны может быть к ним значительно ближе.

Левее лежат с противотанковыми ружьями Петя и еще один новый товарищ, которого я не успел узнать.

Под обстрелом нашей артиллерии по всей широкой равнине ползут фашистские танки, готовясь к очередному броску. Когда они кинутся на наши позиции, они пойдут справа и слева от нас: наше убежище между двумя небольшими высотками недоступно для танков. Мы с нетерпением поджидаем их.

— Что же ты, Костя, так долго лечился? Женился, что ли? — задал мне Володя вопрос при первой встрече. Этот вопрос задает он и сейчас.

В самом деле: женился я или нет? И на этот раз я невесело отмолчался, потому что мне кажется, что я совсем потерял Акботу.

— Перемена какая-нибудь? Измена? — добивается он.

— Нет, похуже.

Володя, который, как мне известно, не знает на свете ничего хуже измены во всяких ее проявлениях, озадаченно замолчал, боясь неосторожно задеть мою рану.

Наша артиллерия с удивительной точностью находит немецкие танки в любом их укрытии и лишает возможности сосредоточиться. Очевидно, именно поэтому танки противника двинулись к нашим позициям в незнакомом нам боевом строю: они собрались в кучу перед самым передним краем и рыча кинулись в атаку.

Танки шли справа и слева.

Нам нельзя обнаруживать нашего гнезда. Хотя оно блестяще защищено от танков, но на нас может наброситься многочисленная пехота.

Отроги Кавказа усеиваются горящими танками. По танкам бьют и наши противотанковые пушки и ружья. Каждому радостно в числе своих трофеев считать хоть на один танк больше.

Но немецкие танки снова и снова появляются из-за горизонта и лезут на склоны все выше и выше.

К вечеру немцы открыли наше убежище. На нас обрушились тонны снарядов. У входа в пещеру выросла куча каменных осколков. Не успев прожужжать, пули цокали о камень, ломали ветки ближайших кустов. Достаточно было поднять на штыке каску, чтобы фашистские снайперы начали бить по ней из нескольких точек.

Наше пулеметное охранение было вынуждено замолкнуть, чтобы не быть раздавленным прежде времени и суметь оказать нам поддержку, когда на нас ринется гитлеровская пехота. А она уже скоро пойдет.

— Обходят справа, — второй раз говорит Вася Гришин.

— Слева тоже, — отвечаю я. — Сунутся не посмеют — они не знают,

какие тут силы.

Я ошибся. Невдалеке с какой-то танцевальной легкостью вдруг нахально вскочила на ноги небольшая группа автоматчиков. Мы встретили их огнем.

Теперь они знают о нас несколько больше. Они знают, что у нас тоже есть автоматы.

Обойти нас слева им не удастся: там мы прикрыты огнем нашей передовой линии. Автоматчики перебежками стали спускаться в лощину. Они скопились там, но при каждой попытке выбраться на другую сторону валились обратно в лощину, где мы и сами хорошо доставали их нашим огнем.

Правая сторона у нас более оголена. Немецкие автоматчики залегли там уже значительной группой. Можно не сомневаться в том, что они крадутся к нам, как охотник к кустам, под которыми сидят перепелки.

Надвигается самый тяжелый момент. В полукольце окружения небольшая группа из девяти бойцов встречает целую роту, и мы погибнем, если не выдержим, поспешим, не учтем расстояния или, наоборот, упустим момент. Должен быть точный расчет. Врага нужно не отгонять, а уничтожать на подступах к нашей позиции.

Расстояние между нами все сокращается. Труднее всего отсчитывать это расстояние и эти секунды. Дрожишь не оттого, что тебя пробирает страх, а от напряжения, которое нужно в себе сдерживать еще две долгих секунды.

— Полтораста... Сто тридцать... Сто двадцать шагов...

А нужно подпустить еще на двадцать... Это и есть тот самый миг, когда, как живую, вспоминаешь Анку из заветного фильма «Чапаев», перед «психической атакой» белогвардейцев. Это тот миг, с которым боец встречается почти в каждом бою.

Я опасался за свой негустой тенорок, боялся, как бы в такой нервной обстановке отданная мной команда не прозвучала тревожной неуверенностью. Солдат отлично воспринимает тон команды: ее звучание рождает в нем или уверенность, или тревогу.

И моя команда: «Огонь!» — прозвучала так твердо, как будто передо мной стояли полки, а не отделение в девять бойцов.

Надо отдать справедливость — ряды немецких автоматчиков не дрогнули ни от этой команды, ни от косящего огня нашего пулемета и автоматов. Они лишь прибавили шагу, продолжая усиленно поливать нас огнем. В это же критическое мгновение на нас спереди, прямо в лоб, бросилась вторая группа фашистов.

Я до сих пор вижу яростный блеск в глазах моих товарищей, когда — один против десятка врагов, — почерневшие от клокочущей злости, мы намертво впились в свои автоматы.

— Ни шагу назад! — напомнил я товарищам твердый приказ верховного командования. Это был приказ родины. Честный боец нарушить его не мог.

Немцам тоже было запрещено отступать, но совсем другими средствами. В этом мы убедились воочию в тот же день.

Атаковавшие нас автоматчики, прижатые к земле нашим огнем, залегли перед самым нашим укрытием, не дальше чем в двадцати метрах. Мы стреляли теперь по лежащим. И тут-то именно произошло в первый раз то, что в дальнейшем мы видели неоднократно: солдат, лежавший за камнем в трех десятках шагов от нас, вдруг с криком вскочил, отшвырнул автомат и побежал в нашу сторону, подняв обе руки. Он с размаху упал в наше каменное гнездо. Я вовремя удержал Володю от выстрела. Но вдогонку перебежчику ударили выстрелы сзади. Он был ранен в спину, в плечо и в пятку.

Он был совсем не из тех «арийских» блондинов, смуглый, худой, невысокого роста венгр. Он понимал, что ему будет трудно выжить с тремя пулями в теле, и, может быть, именно потому он спешил передать нам свои заветные думы. Он говорил торопливо, и каждый звук из его губ вырывался с нехорошим свистом. Он часто облизывал губы сухим языком. Я протянул ему фляжку и пока что оставил его в покое.

Группа, брошенная нам в лоб, залегла и долго не поднимала голов, а те, кто лез справа, отползли назад и исчезли в лощине.

— Ждут ночи, — сказал Володя.

— А он говорит другое, — указав на перебежчика, сказал Вася Гришин, который неплохо знал по-немецки. — Он говорит, что все это — венгры и румыны. Они не пойдут вперед, пока им сзади не поддадут немецкие пулеметчики. В атаке они больше ищут такого укрытия, чтобы их не доставали огнем ни мы, ни немцы.

— Как, как? О чем он говорит?

Пока Гришин пытался уточнить ответ, мы все увидели на деле: из двух точек по залегшим автоматчикам скрещенным огнем ударили немецкие пулеметы. Каждый автоматчик оглядывался назад с явным выражением злобы и бежал вперед, чтобы нарваться на наш огонь. Ничем не защищенные от него, гонимые смертоносным кнутом немецкого пулемета, они гибли без смысла и цели — беспомощные, растерянные, жалкие существа. Вся эта группа автоматчиков погибла, не причинив нам вреда и

даже не зацепив края нашей пещеры своим беспорядочным, бесприцельным огнем.

Если народ не видит для себя смысла в войне и не хочет ее, его можно заставить погибнуть. Но заставить его побеждать — невозможно.

Венгр все еще лепетал и, слабо жестикулируя в пояснение, отвечал Васе на его вопрос.

— Я мечтал попасть в плен еще с осени прошлого года, — переводил нам Гриша. — Я знаю, что нам, венграм, в России не нужно ничего... Правда, наши тут тоже бесчинствуют, грабят... Человек с оружием и без идеи легко превращается в бандита, а гитлеровцы грабеж поощряют... Я христианин. Я перед смертью вам не солгу. Венгр войны не хочет... Давно не хочет...

Он скривился от боли. Ему делалось все труднее говорить. Слова стали вялыми, словно ленивыми. Перевод Гришина становился отрывистым. Вася все с большим трудом улавливал смысл иностранной речи и наконец умолк, как священник, читающий «отходную» над умирающим, невольно умолкает, заметив миг наступившей кончины.

Ночью меня вызвал к себе наш командир. Только тут я заметил лишний кубик на петлицах его гимнастерки.

— Товарищ старший лейтенант, старший сержант Сарталеев по вашему приказанию явился! — по форме отрапортовал я ему.

Мирошник с улыбкой пожал мне руку и кивнул, приглашая сесть.

Он и Ревякин сидели в хорошо защищенном каменном углублении. Завесив плащ-палаткой уголок, они даже зажгли коптилку, при свете которой Мирошник, почти припадая глазами к бумаге, старался прочитать бледные буквы только что полученного приказа. Я подал ему электрический фонарик, взятый у нашего умершего венгра, и рассказал об этом происшествии, которое укрепило бодрость наших ребят.

Мирошник сообщил обстановку. Общая линия нашей обороны опять изогнулась, и на завтра ее выпрямления не ожидалось. Правда, об этом он не сказал, да и кто же когда говорит! Но только плохой солдат не чувствует, какой день ожидает его завтра. Лучше не спать совсем, чем уснуть в неизвестности насчет завтрашней боевой обстановки.

Наша задача была еще сутки держать эту развилку горных дорог. Еще в течение суток наша позиция остается важной, после чего, если будем живы, мы можем оставить наши укрытия и подтянуться вслед за всей частью ближе к сердцу Кавказа. Значит, мы опять отступали, и это было хуже всего.

Я вспомнил свою последнюю перед ранением ночь. Какая прекрасная

это была ночь, несмотря на ее непроглядный мрак, на мороз, на метель! Как легки и радостны были тогда все наши движения! Тогда мы наступали.

Я отдал Ревякину письмо комиссара пересыльного пункта Тарасенко. Ребята просили меня, когда я уходил, узнать сводку.

— Что сводка! — сказал политрук. — Сегодня у нас ее нет, с приказом не прислали. Обождем до завтра. На Сталинград лезут, гады! — сказал он со вздохом.

— Тут им и зубы сломить! Разве советский народ отдаст Волгу? — ответил Мирошник. — Как думаешь, Костя, отдаст?

— Что вы, товарищ старший лейтенант! — сорвалось у меня даже с каким-то испугом.

— Ну да, и я говорю — не отдаст! — подтвердил Мирошник. — Нашу задачу я сейчас так понимаю: оттягивать больше сил. Стоять до последнего. Виснуть у них на плечах как можно тяжелее. Итак, Сарталеев, сутки держись... Надо продержаться! — закончил он и оборвал на полужае.

Дальше не стоило говорить. Все было ясно. Каждый из нас понимал, что для нашего взвода выпадет завтра очень тяжелый день.

Командир протянул мне руку.

Я взглянул на Ревякина, и в моей голове мгновенно возникли слова, которые я сейчас напишу и отдам ему: «В случае смерти прошу считать меня...».

Но, протянув руку, Ревякин меня перебил:

— Завтра, товарищ старший сержант, когда возвратимся в часть, вы получите орден, который вас заждался... И завтра же будем принимать тебя в кандидаты партии.

Уставом не предусмотрено обниматься с политруком, но я его обнял.

Мы попрощались, и в темноте, по камням, от куста к кусту, я пополз обратно к себе в гнездо, где с нетерпением ждали меня ребята.

В одном месте низко свиставшие пули заставили меня крепко прижаться к камню и переждать. Я лежал и представлял себе завтрашнее партийное собрание. Оно произойдет в просторном зале, где вместо колонн — скалистые утесы, а потолком служит темно-синее кавказское небо. Я буду принят в партию под его яркими и большими звездами.

Я добрался до своей пещерки в тот момент, когда Петя привел туда новую свору четвероногих истребителей танков. Пока все еще было темно и тихо. В ложине, ближе к дороге, лежали наши наблюдатели. Боящиеся темноты немцы изредка пускали осветительные ракеты. Кое-где раздавались одиночные выстрелы. Боевой день закончился.

Он доказал нам, что наше отделение сможет простоять здесь еще один

день и еще один, а может быть, и все три дня. Это обойдется Гитлеру в семьдесят два часа задержки. И она не будет для немцев отдыхом.

## IV

— Костя, где теперь твоя жена?

— Все там же.

— А что она пишет?

— Это не от нее...

Отдых и переформирование близятся к концу. Мы вымыты, выбриты, одеты, как говорится, с иголочки. Свежо и приятно пахнут и новое белье и новая гимнастерка с непривычными погонами. Сапоги поскрипывают; они на таких толстых подошвах, что в них мы вполне дойдем до Берлина.

Вася, в новой форме с орденами и медалями, отдохнувший, определенно красив. Несколько дней отдыха настроили его лирически, и он рассеянно задает праздные вопросы. Несмотря на свою обычную аккуратность, он забыл выбросить истоптанные ботинки, которые валяются у него под койкой, разинув пасть, как молодой бегемот; даже наш бережливый старшина отказался принять их в обмен и оставил Васе «на память».

Я продолжаю читать письмо, но от неожиданности вопроса строки расплываются, и каждое слово, убегая от меня, как муравей, вместе с Василием тоже спрашивает меня: «Где же твоя жена?»

В самом деле, где же моя жена?

Я уже окончательно свыкся с мыслью, что Акбота моя жена. В этом меня убеждают и товарищи:

— Здравствуйте! Как же ты сомневаешься, когда она пишет такие письма? Так пишет только жена, факт!

Никто из наших ребят не женат, и никто не знает, как пишут жены к мужьям, но все одинаково уверены, что именно только так должна писать жена своему мужу.

И мама больше сокрушается об Акботе, чем обо мне. Она считает, что такая работа, как война, мальчикам дается легче, а каково бедной девочке Акботе? Сообщив мне номер ее полевой почты, мама убеждена, что я съездил «туда» и устроился вместе с моей Акботой. Она спрашивает, пьет ли Акбота чай с молоком, как любит. Единственно, что она отчетливо представляет себе, — это то, что на войне нет айрана и кумыса. Она наказывает мне лучше заботиться об Акботе. Ей кажется, что раз мы на одной войне, то это вроде как в одной колхозной бригаде.

А я, кроме номера полевой почты да очень приблизительного



представления о должности Акботы, ничего и не знаю...

— А от кого же тогда? — второй раз настойчиво повторяет Вася.

— От Гули, из Караганды.

Вася вспыхнул, отвернулся и снова принялся что-то писать, усиленно двигая правым плечом.

— Вот, значит, какой Ферганский канал будет! А? Видал, товарищ старший сержант? Видал, а? — восклицает Самед Абдулаев, узбек, только что пришедший к нам в числе пополнения. — Видал ведь?

— Ну конечно, видал... — оторвавшись от собственных мыслей, подтвердил я.

Мы вместе смотрели кинохронику, где был показан грандиозный канал, который Узбекистан создавал в то время. Таким же образом мы присутствовали при торжественном обещании узбекского народа повысить урожайность и перевыполнить план по хлопку. Самеду не терпится, чтобы мы еще раз подтвердили свое восхищение делами его родины.

— А клятву какую дали по хлопку, а? — продолжает Самед.

Я подтверждаю все и добавляю ему в тон:

— А наша Караганда теперь стала на смену Донбассу.

Самед, став вдруг серьезным, несколько раз утвердительно кивает мне головой.

Вася, поняв, что я ответил Самеду строкой из письма Гули, вдруг повернулся ко мне:

— А что она пишет о новом заводе, которым тогда увлекалась?

— Скоро кончат строительство.

Вася ожесточенно рвет очередной листок бумаги, очевидно признав изложенные на нем мысли недостойными. Вокруг него валяются разорванные и скомканные клочки, как будто он пишет роман. Карандаш его постукивает по столу, словно стучат из соседней комнаты.

Я догадываюсь, что Вася пишет письмо Гуле. Он, конечно, задумал ей написать лирическое письмо, но смело могу утверждать, что он попытается сделать это в виде признаний в любви к Караганде, будет перечислять богатства ее недр и лирика получится геологическая.

Вошел Ушаков, позванивая медалями. На нем словно улыбается даже пилотка.

— Вот, ребята, я дал крупный план! — сияя белым рядом зубов под молодецкими черными усами, объявляет он. — Иди, Вася, на «крупный план»!

— А ты почему знаешь, какой ты «дал план»? — усмехается Гришин.

— Сам оператор сказал! Говорит, гвардейский значок на экране будет с

ладонь.

Да, товарищи заслужили быть показанными крупным планом на экранах своей страны. С первой же ночи нового, сорок третьего года до этого отдыха шли мы в огне неустанных наступательных боев. Шли пешком, ехали на машинах, на танках, на наших и на чужих, догоняя убегающего врага.

Хорошо для нас начался новый год! Как радостно он улыбнулся солдатам! Как весело сверкали серебряные вершины Кавказа, когда, поторапливая бегущих, шагая через трупы погибших врагов, каждый боец прокричал: «С Новым годом, старик Кавказ!»

В утренней синеватой мгле величаво поднимался седой Эльбрус, судья и память истории. Он был свидетелем того, как советские люди отстаивали Кавказ, он видел, как мы выметали фашистские полчища из всех лощин и ущелий.

Мы уже знали к этому дню, что на сталинградское ожерелье наглухо надет стальной обруч, который все туже врезается в глотку фашистской армии. Мы понимали, что отрезанный от всей остальной орды гитлеровский табор под Сталинградом считает свои последние дни. Артерии были уже перерезаны и не питали больше издыхающую голову гада, хотя она продолжала еще скалить зубы и огрызаться.

Мы встретили Новый год в штабе майора Крюгера, в уже далеко не блестящем обществе его шести офицеров, скромно сидевших у печки под охраной наших бойцов.

Чтобы поднять падающий дух солдат, которые начали терять веру в свою непобедимость, господин майор решил встретить свой последний Новый год с иллюминацией. Разноцветные огни ракет и трассирующих пуль, как серпантин, взлетали над деревушкой, в которую господин майор отошел перед самой встречей Нового года.

Еще вчера они в панике удирали от всепожирающего огня «катюш». А сегодня вдруг решили беззаботно и лихо отпраздновать Новый год в деревне, от которой остались одни обломки.

— Храбрость, что ли, хотят показать? — сказал Петя, вместе с которым мы были вызваны к Ревякину.

— По-моему, просятся в плен, — возразил Ревякин. — Сходите, друзья, проверить, какая у них обстановка.

Мы вышли в разведку. Месяц назад мы с боем оставили эту деревню. Здесь нам известен каждый камень. Пробраться среди развалин нам было не сложно, и через полчаса мы уже могли доложить старшему лейтенанту Мирошнику, что и солдаты и офицеры — все пьют.

— Захватим нахалов! — сказал Мирошник, глядя на пьяную иллюминацию позабывших всякую осторожность фашистов.

Ревякин с нашим отделением — с запада, Мирошник с двумя другими отделениями — с юга, приблизившись на расстояние всего сотни метров, ударили разом из пулеметов и с криком «ура», потрясшим всю округу, пошли в атаку. Ошалелые гитлеровцы, прекратив свои упражнения с огоньками, стали без выстрела кричать: «Капут! Капут!»

Немецкие солдаты сидели под каждой развалиной, но вместо того, чтобы отстреливаться, поднимали руки.

И вот Мирошник сидит за новогодним столом, накрытым на подветренной стороне русской печки, в сущности — прямо на улице, потому что избы уже не было, оставались всего две стены, даже без крыши. Впрочем, для новогоднего пиршества обломки были убраны и пол для господ немецких офицеров чисто выметен нижними чинами.

В углу за печкой на этом чистом полу сидели устроители праздника. Неловко согнув колени, все шестеро господ офицеров, протрезвевшие от новизны положения, застенчиво отворачивались от стволов двух автоматов, упорно глядевших в их сторону. Что и говорить, неприятное ощущение, когда на тебя вплотную глядит этот тупой нос. В центре группы сидел сам майор Крюгер и бросал недружелюбные взгляды белесых глаз на нашего старшего лейтенанта.

На темной улице, сгрудившись в темную кучу, как бараны у колодца, сидели пленные немецкие солдаты.

— Мы добровольно сдались... Я сам бросил оружие! Я сам бросил свой автомат! — кричали они Васе Гришину.

— Мы воевать не хотим! Мы вам не враги! — перебивали они друг друга.

В другой группе пленных, охраняемых одним Сергеем, вдруг началась какая-то свалка. Ругались на всех языках Европы.

— Что там у тебя? — спросил я Сергея.

— Рассчитываются, — спокойно ответил он, не сдвинувшись с места.

В центре группы уже лежали на земле двое избитых гитлеровцев. На них указывало множество рук, и многоязычная толпа кричала: «Фашист! Фашист!» Глаза кричавших горели ненавистью.

Черный лохматый румын с артистической ловкостью изобразил жестами и мимикой, как эти валявшиеся теперь на земле пулеметчики гнали его в бой, подталкивая в огонь, а сами сидели в укрытии. Затем, приняв надменный вид, он высокомерно и медленно подошел к лежавшим и, не глядя, наступил на одного из них. Не успел я остановить его, как он,

не меняя позы, выкрикнул по-немецки: «Встать, румынская свинья! Вперед!»

Я хотел схватить его, но он тотчас отскочил и снова, крутясь как черт и бешено жестикулируя, стал объяснять мне что-то на непонятном языке, показывая то на себя, то на немцев. Впрочем, инсценировка была понятна и без слов. «Вот как они поступали с нами!» — говорила она.

— Это он демонстрирует фашистскую «дружбу народов», — с усмешкой заметил Сергей.

Опасаясь за целостность этих двух немцев, которые могли пригодиться для расспросов в штабе, я приказал Сергею позаботиться, чтобы их союзники не выражали им больше своих «дружеских» чувств. Это нам напомнило эпизод с венгром.

С этого дня мы не знали уже остановок. Мы шли вперед, оставляя позади все более и более широкие пространства, освобожденные от гитлеровцев. С каждым днем приходили к нам вести о том, что теперь их гонят по всем фронтам. Среди зимы бежали они по ими же опустошенным степям и погибали в снегах. Мы гнались за ними, но отставали от них, и вот по пути стали нас обгонять тяжелые «трехоски» с молодыми бойцами в новеньком обмундировании. Нас обгоняли танки с красными звездами, с надписями: «На Берлин!», «Смерть фашизму!», «Вперед, до победы!».

Мы с завистью провожали глазами этих ребят.

Сами мы были брошены на очистку тылов.

Следующая наша остановка была у того источника, где когда-то сердобольная Мери, украдкой от старших, подняла оброненный Грушницким стакан. Но с нами не было ни Печориных, ни Грушницких, у нас свои герои нашего времени и у нас свои Мери.

Вот этих-то героев нашего времени и приглашают нынче сниматься в кино крупным планом.

Вася пошел к выходу. Он, бедняга, так напрягал свою мысль, что глубокая складка легла у него меж бровей. Я вижу, что он опять не удовлетворен своими трудами и, конечно, не написал ни одной маломальски пригодной строчки. Это может отразиться на качестве «крупного плана». Я больше не стал его мучить и передал письмо Гули, которое адресовано нам обоим.

Сергей превратил свой отдых в мучение. В одной из занятых нами деревень немцы бросили много разных награбленных вещей, в том числе холст, кисти и краски. Это разоблачило слабость нашего землемера. Сережа оказался любителем живописи. Эту страсть он открыл в себе только тогда, когда уже учился в техникуме. У него на руках после смерти отца в это

время оказались мать и две маленькие сестренки. Надо было их содержать, и он не имел возможности поступить в художественную школу. Увидев кисти и краски, он стал сам не свой, и хотя нам в те дни представлялось, что наступление наше не утратит взятого темпа до самого Берлина, он все-таки захватил с собой эти вещи.

Теперь он расплачивается за это. Отдых достается ему тяжелее боев: он сидит перед холстом с утра до ночи.

Первую из его картин мы единогласно одобрили и подарили ее директору курорта, где сейчас расположилась вся наша часть на отдых и для пополнения.

На этом полотне Сергей написал картину бегства немцев. Широкий степной пейзаж, и повсюду, как блекло-зеленые тыквы, валяются немецкие каски со свастикой. На переднем плане — мертвая голова с темными провалами глазниц и эмблемой смерти на каске, а перед ней сидит ворон, словно желая убедиться, что тут на его долю глаз больше не осталось. Ворон косясь на голову и на ворона, сгорбленные, закутанные во что попало, скользят в стороне тени немецких солдат, живо напоминающие бегство французов в 1812 году.

Сергей тотчас же взялся за вторую картину, которая пока еще не окончена. Володя, пристроившись за спиной художника, критикует его.

— Что это за символизм? Утренние лучи всегда сперва падают на вершины гор. Ты что — позабыл, как они горят на снежных вершинах? Как застывшие молнии!

— Ну, ну, хорошо. Этот пункт признаю, — соглашается Сережа.

— А это не признаешь? — вызывающе указывает Володя концом кисточки на знакомое всем нам ущелье над Тереком. — Не признаешь?

Сергей обращает к нам взоры, словно прося поддержки против безжалостного критика, который считает его реализм символизмом.

— При чем тут толпа оборванцев и нищих? — спрашивает Володя.

— А пленные, помнишь?

— Долой с картины гитлеровцев! Чего ты за них уцепился? Ты наших ребят изобрази! Чтобы солнце в глазах сияло, чтобы шли вперед!

Мы все принимаем посильное участие в творческих страданиях бедного художника: одному не нравятся краски, другой хочет всю нашу жизнь на Кавказе, всю эту зиму выразить на одном полотне.

Темой этой картины, которую мы ему задали, было «Прощанье». Это мы сами, наш взвод, перед тем, как весь фронт рванулся вперед в наступление. Терек — крайний рубеж, который мы долго удерживали в руках.

Мы узнаем на картине бурную реку, скачущую с камня на камень. Она стала в те дни нам сестрой, эта своенравная дочь двух седых стариков — Казбека и Каспия. Мы любили ее и берегли от врага. Эти утесы нам были братьями, они защищали нас своими каменными плечами от пуль и снарядов.

Даже в боях наша молодость не покинула нас. В каменных складках гор мы читали те строки, которые в них же некогда вычитал Лермонтов. Мы слушали в песне Терека те слова, которые в ней же когда-то подслушал Пушкин. Мы решили, что наш любимый поэт стоял вот на этой кроваво-черной скале и задумчивый взгляд его скользил от тех серебристых вершин к этой темной угрюмой теснине.

Это было в день Нового года. Наша часть вышла вперед и продвигалась с боем, а нам приказали ждать особых указаний. Мирошник был вызван в штаб, к командиру дивизии. Наш взвод остался в ущелье у горной дороги. Первые два отделения расположились пониже, а мы находились на площадке возле темной скалы.

Володя, окончив чтение «Мцыри», спустился к реке и черпнул стальной каской воды из Терека.

— Какой был могучий поэт! — провозгласил он.

— Позднее открытие, — сказал Гришин, — мы это слышали раньше.

— Чудак! То слышали, а здесь ты видишь это своими глазами!

Мы провели здесь целую зиму и не смогли ощутить всего этого. Теперь нам было достаточно часа, чтобы почувствовать поэтический Кавказ Лермонтова. Радость ночной победы, прекрасные сводки Совинформбюро, сознание, что мы идем в наступление, — все это делало нас счастливыми и молодыми, и то, что с детства жило в наших сердцах, но в тяжелых боях позабылось, теперь оживало. Мне самому пришлось впервые узнать стихи Лермонтова в переводе Абая, но для меня они звучали так же, как для других по-русски. Поэты перекликались через пространства, через долгие десятилетия. Если их созвучие так глубоко отзывалось в народных сердцах, оно было рождено в судьбах народов.

Сергей молча поднял из кучи трофеев штык и на темном камне скалы начертил им портрет поэта. Мы видели в первый раз его ловкость в этом искусстве и поразились.

Наметив царапинами только контуры, он стал их высекать на камне. Тогда я и Володя стали одновременно писать на отшлифованном дождями утесе те слова, которые каждый из нас хотел оставить на память Кавказу. Мирошник не возвращался. Мы продолжали свое дело молча и сосредоточенно, как бы совершая какой-то священный акт.

Когда я, закончив писать, подошел к Володе, он тоже ставил последнее многоточие. Я прочел, может быть несколько искажая слова, но сохраняя смысл:

А Терек прыгает, как львица,  
С косматой гривой на хребте,  
И быстрый гад. и зверь, и птица,  
Кружась в лазурной высоте,  
Глаголы вод его внимали...

Ничего удивительного не было в том, что на другой стороне скалы оказался нацарапан на казахском языке сделанный Абаем перевод этих самых строк. Чтобы доставить мне удовольствие, Володя стал читать по-казахски, спотыкаясь на каждой букве:

Асау Терек долданып, буырканып,  
Тауды бузып, жол салган тасты жарып...

Да, Лермонтов оставил глубокий след в душе и творчестве казахского поэта. Не только переводы, но и оригинальные стихи Абая веют тем же величием:

Я с вершины скал  
В мир слова кричал.  
Эхо мне отвечало вдали...

Теперь перед нами был не простой утес. Это стояла священная скала с портретом и словами великого Лермонтова, к которой враг уже не подойдет. На ней я оставил имя Абая. Она стоит, как пограничный столб, на той крайней точке, куда доходили немцы. Она будет стоять, как память о том месте, откуда под новый, 1943 год они начали свое отступление, быстро перешедшее в бегство.

Я вспомнил свою пограничную службу и полосатый столб, который я охранял. Там тоже резво струилась река, прыгая с камня на камень. Оттуда тогда поднимались угрозы. Мыкола Шуруп, который по-прежнему охраняет ту же границу, писал мне всего месяц назад, что и он ожидает с

часу на час, когда придется ему испытать свою боевую удачу. Если бы волны немецкого наступления не разбились об эту скалу, а пошли бы дальше, те болванчики с дедовскими кривыми саблями кинулись бы на Мыколу. Но сейчас Михаил Иванович Ревякин считает, что «этот исторический вариант исключен».

— Теперь им уже поздно. Они ведь не совсем дураки, понимают! — говорит он.

Да, кто знает, какие еще «исторические варианты» готовили нам враги (а может быть, и некоторые «закадычные друзья») в надежде на то, что кавказские скалы не вынесут фашистских ударов, что перед ними не устоит утес Степана Разина, что гитлеровцам удастся прорваться за Волгу?

В разгаре сталинградских боев, когда слово «Волга» отдавалось в сердцах бойцов, как тяжкая боль, когда каждый из нас, куда бы его ни поставила судьба, летел сердцем в Сталинград, наши «друзья» и союзники задавали только вопросы: «Как вам кажется, вы еще можете сопротивляться?» Но они получили четкий и суровый ответ, адресованный не только гитлеровским фашистам, но на всякий случай и тем, кто вслед за ними посмел бы усомниться в нашей способности к сопротивлению любому агрессору, всякому, кто захотел бы обеспечить себе мировое господство.

Теперь по ту сторону знакомого мне и Мыколе столба, вероятно, стали несколько тише размахивать саблями. Вместо барабанного грохота Мыкола, пожалуй, слышит оттуда нежные и чувствительные звуки флейты, которая уже пытается подобрать лирический мотивчик.

Событий нахлынуло столько, так изменилось все с прошлой осени, что, если оглянуться назад, рябит в глазах. Удивительно ли, что наш еще неопытный художник растерялся перед этим богатством мотивов и тем!

На фоне широкого пейзажа он написал вереницы танков, которые тогда бесконечным потоком ринулись по всем дорогам Кавказа. В те дни каждое горное ущелье, каждая горная складка, казалось, рождали танковые колонны. Уже не опасаясь фашистской воздушной бомбежки, среди белого дня катили из наших тылов тяжелые грузовые машины со свежими войсками, с солдатами в погонах. А мы стояли тогда у скалы в старой форме, в простреленных шинелях с пятнами своей и вражеской крови и завистливо глядели на этих бравых ребят, которые кричали нам «ура» и махали шапками. Скалы отвечали потрясающим эхом гулу моторов, рокочущих в небе и на земле.

Сережа старается охватить сразу все, что вспыхивает в памяти, и поэтому теряет за мелочами главное.



— Какие же это танки? Это какие-то тараканы бегут, — неистовствует беспощадный Володя.

— Ты, Володя, пойми общий замысел. Это ведь фон, настроение, а в центре картины — наша скала, — растерянно возражает Сергей, краснея, как школьник перед учителем.

— Скала? — критически переспрашивает Володя. — Скала просто списана с Лермонтова. Тут ты от себя ничего не прибавил.

Мы все, конечно, видели тогда Кавказ глазами Лермонтова. Ведь сам же Володя начал тогда читать нам «Мцыри».

— Вам, товарищ художник, надо искать свой творческий путь, а пока вы в плену у великого художника и копируете. Говорят, этот путь не приводит к славе, — озорничает Володя, разыгрывая «маститого».

Сережа видит, что за шутливыми словами Володи скрывается правда. Он, конечно, не ждал ни от кого из нас такой критической прыти и даже слегка задавался умением рисовать, а тут — на тебе! Сергей растерялся. Я бы на его месте сказал, что мой, дескать, творческий путь, уважаемый критик, в последние годы шел по окопам, по танкам, по блиндажам.

— Вы, бесспорно, имеете дарование, товарищ художник, вы создадите большие полотна, но вам пока не хватает еще своего лица, — заключает Володя.

Он обнял Сергея и сел с ним рядом.

— Ну, ты не сердись, Сережка. Давай создадим с тобой коллективное солдатское произведение. Вот погляди на этого парня. Каким красавцем ты его намазал? Можно подумать, что это сам Печорин, а он ведь наш общий знакомый. Сказать, что он очень красив, — клевета! Давай-ка дадим его так, как он есть, и пусть не на нас обижается, а на бога! Я помню, тогда на нем была здоровая «боевая» шинель, вся в дырках. Он уже на машине потом что-то старался зашить.

Я делаю вид, что не слышу и не понимаю, что все это Володька говорит обо мне.

— Ты видишь, Сереженька, — увлекся Володя, — ведь старостиха Василиса вошла в историю вовсе не потому, что была красавица... Я думаю, даже его жена не будет в обиде за это.

Жена... Да, моя жена! Здесь, на отдыхе, я начал получать ее письма на три-четыре дня раньше, чем прежде, но где она и что делает — мне по-прежнему неизвестно. Судя по сообщениям, у них стоит жара, поспели фрукты, и, значит, она тоже где-то здесь, на Южном фронте...

Сигнал играет тревогу. Звучит команда капитана Мирошника, сверкающего новеньким обмундированием и четырьмя звездочками на

погонах.

Перед нами — транспортный самолет. Входим справа по одному, грузимся.

Самолет дрожит, крутя вихрем пыль. Уже пожелтевшие осенние травы прижимаются к земле от мощного ветра, вздуваемого пропеллером.

Наша рота разделилась на две части. С нами летит замполит, капитан Ревякин. В другой самолет Мирошник возьмет остальных.

Без всякого прощального ритуала самолет берет курс на юг.

Описать, что творится во время большого ночного боя, очень сложно, а когда что-нибудь трудно описывать, мы для большей ясности прибегаем к сравнениям с вещами, всем хорошо знакомыми, или (как это ни странно) с тем, что никому не известно, — с такими, например, штуками, как ад.

Итак, ад кипел этой ночью в пылающем городе и его окрестностях. Все было охвачено сплошным разливом огня, и казалось, что от ударов снарядов рушатся не здания, а какие-то горящие скалы. В облаках, в удушающей копоти, слева от нас, над морем, нависло тяжелое черное небо без единой звезды, и лишь порой блеклым сереньким пузырем где-то особенно далеко вздувалась луна.

Снаряды и мины летели на нас из горящего города, падали непрестанно в поле, и каждый из них на мгновение вспыхивал громадным багряным кустом с широкими огненными листьями, которые тут же окутывались дымным мраком и тучей летящей земли.

Справа от нас, как из вулкана, извергалась лава огня: обволакивая ночь черным дымом, горел огромный цементный завод. До самого последнего вечера его территория оставалась «ничейной». Теперь она занята всепожирающим пламенем.

Это был родной город Володи Толстова. Тут он родился и рос. На этом заводе раньше работал его отец.

Еще правей, за заводом, — гряда высоких холмов. Днем это были голые серые горы, с виду похожие на стадо гигантских слонов. Ни признака жизни не было на их мягких склонах. За ночь на них как будто вырос новый город, вспыхивающий огнями, точно в окнах сотен домов то и дело включают и выключают свет. На этих высотах к ночи расположилась наша тяжелая артиллерия.

Мы пробираемся к городу берегом моря. Во вспыхивающем свете ракет и снарядов мы видим слева высокие волны, но обычный гул их тонет в грохоте боя. Нам приказано выяснить положение морского десанта, который вчера высадился в городе у пристани и связь с которым нарушена.

На каждом шагу натываясь на трупы людей и лошадей, под густым обстрелом артиллерии и пулеметов, мы медленно приближаемся к городской черте. Передвигаясь ползком от воронки к воронке, от одного человеческого трупа к другому, мы оставили за собой уже пять километров.

На спине у меня прикреплены к поясу концы двух шнуров, каждый по

двадцать метров. На других концах этих шнуров — Самед и Володя, отлично знающий город. Шнуры служат нам для безмолвных переговоров и для того, чтобы не потерять друг друга среди сотен человеческих тел, которые в моменты неверного освещения поля огнями ракет тоже кажутся ползущими то с нами — к городу, то нам навстречу — к морю, в зависимости от того, в какой момент атаки скошены боевым огнем эти перемешанные здесь наши и вражеские солдаты. От трупного запаха воздух над полем тяжел, даже ветер его не может очистить.

Володя дернул меня за шнур: «Стой!»

«Что такое?» — спрашиваю я тем же способом.

«Иди сюда!» — торопливо зовет шнур.

Мы подползаем на зов.

Возле черной туши убитой лошади лежит красноармеец, рядом с ним — Володя.

— В чем дело?

— Немцы-разведчики впереди.

— В воронке... шагов с полсотни отсюда, не больше, — добавил раненый.

— А ты кто?

— Разведчик.

— Тяжело тебя ранило?

— Обе ноги... Я все время за ними слежу... Они еще в сумерках подошли, а дальше не смеют... Вон там в воронке сидят... и курят... Дымок доносило сюда...

Тяжело встретить вот так бойца, которому нужно помочь, а ты не можешь... Мы должны были его оставить, ограничившись тем, что наложили жгуты на раны.

— Будем живы, пойдем назад — подберем, — обещал Володя разведчику.

— Ладно, ребята... Спасибо, идите... Только меня... прислоните к этой коняге... чтобы все видеть... Я все равно... не боец...

Говорить ему было трудно. Шепот слетал с его губ прерывисто. Он хотел еще раз хотя бы увидеть бой, раз не мог уже в нем участвовать. Он хотел увидеть еще одну нашу победу. Он говорил спокойно и просто, без тех высоких слов, какими в романах говорят умирающие герои. Я нагнулся, чтобы взглянуть на его лицо, но, как назло, ни одна ракета не вспыхнула в эти недолгие минуты.

Мы дали ему фляжку с водой и несколько штук папирос.

— Вы мне лучше, ребята, махорочки да газетку — пусть руки хоть

что-нибудь будут делать. Так-то скучно...

Оставив его, мы ползком приблизились к указанной им воронке.

Нам не приходилось опасаться шума или выстрела: в эту ночь отрывистая автоматная очередь или одиночный взрыв гранаты были бы слышны не больше, чем детское хлопанье в ладоши.

Уже у самой воронки мы заметили сбившихся в кучку людей.

— Ия, ханнан! — крикнул Самед. — Так мы били вас в Сталинграде!

Мы залегли, но после двух взрывов гранат в воронке не было больше ни движения, ни стопа.

Позже я спросил Самеда, что означает на его языке: «Ия, ханнан!»

— А кто его знает! Так кричал ходжа Насреддин, когда бил оглоблей ханского визиря, который украл у него жену.

Морской десант держался прижатый вплотную к берегу моря. Володя подвел нас к нему очень близко. На этом крошечном участке стоял сплошной грохот, будто град бил по крыше. Частые взрывы ручных гранат, громкие выкрики и несмолкаемый треск пулеметов и автоматов говорили о многом, но небольшое пространство, отделявшее нас от десанта, было сплошь занято вражеской пехотой и минометными и пулеметными точками. Подойти ближе, установить связь было невысказано.

На обратном пути мы нашли в поле оставленного бойца: он по-прежнему сидел, прислонившись к убитой лошади. Глаза его были открыты, и в них отражались вспышки огней и взрывов, но он не видел их больше...

Когда я вернулся, капитана Мирошника в блиндаже не оказалось.

— Он долго вас ждал... ушел в штаб береговой артиллерии и вам приказал явиться туда. Третья пещерка от нас над берегом.

Штабы наших наступающих частей расположены были в пещерах старых каменоломен над обрывистым берегом моря. Здесь даже слышен был плеск прибоя. На море выходили отверстия, которые днем служили для наблюдения, но вечером здесь невозможно было зажечь огня, чтобы не обнаружить наблюдательных точек. Во мраке пещеры, сквозь шум моря, я услышал голос нашего капитана:

— Так точно, товарищ гвардии полковник, давно уже выслал. С минуты на минуту жду их возвращения.

Я понял, что он говорит о нас. Глупо было бы мне в темноте дожидаться, пока на меня обратят внимание.

— Товарищ гвардии полковник, разрешите обратиться к товарищу гвардии капитану Мирошнику, — подал я голос.

— Кто там? — отозвался из темноты голос полковника.

— Командир первого отделения первого взвода роты разведки гвардии старший сержант Сарталеев явился по приказанию командира роты, гвардии капитана Мирошника, — ответил я, как любил Мирошник, точно по уставу.

— Костя? Дружок с переправы? А говорили, что ты в госпитале пропал? — воскликнул полковник, и я узнал в нем старого знакомого, майора Русакова. — Ну, докладывай, Костя.

Я доложил обо всем, что из результатов разведки считал важным.

Мне задавали вопросы то наш капитан, то полковник, уточняя расположение наших десантников.

— Ну, спасибо, друг, — сказал мне полковник. Его сильная рука поймала мою левую и в темноте резким движением притянула к себе. — Эх, мальчик ты, мальчик, — добавил он, не то что обняв меня, а просто как-то поставив вплотную, рядом с собой.

Мне захотелось увидеть его лицо, но было совсем темно.

Запищал телефон.

— «Тула» слушает.

— Я «Огурцы», Русаков, — отозвался полковник. — Слушаю, Ираклий Георгиевич. Иду... Генерал-лейтенант вызывает, минут через пять я вернусь, подождите, — сказал Русаков, уже выходя из пещерки. — Ты, Костя, тоже...

Мне вспомнилась переправа. Цигарка, которую он по-дружески сунул мне в рот. Я был рад этой встрече со свидетелем наших первых шагов по дорогам войны...

У выхода возле пещеры полковник крикнул кому-то:

— Ложись!

В тот же миг перед самой пещерой с грохотом рухнул вражеский снаряд. Слабый синеватый просвет входа затмился, ударило пылью и дымом. Где-то рядом дробно падали камни и комья земли. Затем в наступившей тишине снова послышался плеск морского прибоя и чей-то голос негромко испуганно вскрикнул:

— Полковник убит!

«Убит». Как часто мы слышали и произносили сами это короткое тяжелое слово! Сколько раз приходилось прощаться навек с товарищем, с кем вкруговую курил последнюю папироску, кто согревал тебя теплым участием и заботой, с кем делил ты свою фронтовую печаль и радость! С каждым павшим в бою товарищем ты как будто хоронишь частицу себя самого.

Произнесенное негромко в этой темной пещере слово «убит» для меня

прозвучало громче, чем если бы его выкрикнули целым взводом.

Едва капитан Мирошник успел доложить о десанте новому командиру, принявшему командование вместо Русакова, едва успели мы с ним возвратиться к себе, как наша рота двинулась в голове наступающей пехоты по берегу моря.

Над нами висел двойной огонь: на нас обрушились артиллерией, пулеметным и минометным огнем фашисты, и через нашу же голову расчищала нам путь своя артиллерия. Мы шли по следам наших снарядов за огневой завесой, иногда почти настигая ее, залегали. Тогда наши снаряды рвались перед нами всего в какой-нибудь сотне метров. И снова огонь переносился вперед и еще вперед, освобождая нам дорогу для нового броска.

Новороссийск, родной город Володи, был последним мощным оплотом гитлеровцев на восточном берегу Черного моря. Немцы яростно сопротивлялись, но внезапность удара пехоты опрокидывала их методичный расчет. Они ждали обычной артподготовки и после нее — броска пехотинцев. Ожидания не оправдались. Пехота валилась на них почти вместе со снарядами. Отчаянная смелость пехотинцев соединялась с удивительной четкостью и точностью нашей артиллерии.

— Ия, ханнан! — давал знать о себе Самед Абдулаев. — Так мы били вас в Сталинграде! — добавлял он после взрыва каждой своей гранаты.

— Так били, так бьем! — отвечал ему Вася Гришин.

Подразделения, разумеется, временами смешивались.

Нередко на твой крик отвечал незнакомый голос. Какой-нибудь лозунг, брошенный где-то на фланге, подхваченный соседями, летит далеко на другой фланг и, много раз меняя свой точный смысл, возвращается к тебе, обрастая новым содержанием.

Где-то солдат вспомнит друга, потерянного в боях, и крикнет:

— За Гришу!

Это он почувствовал, что наступила минута достойного отмщения за боевого друга.

— За Ольгу! — подхватывает сосед, вспомнив потерянную подругу.

И вдруг, как вспышки винтовочных выстрелов, по рядам пехоты женские имена:

— За Шуру!.. За Любу!..

Все они здесь, с нами, они невидимо поддерживают душу бойца: одних мы защищаем, за других мстим врагу — и вот они все пришли помогать нам в бою...

— За Женю!.. — донеслось до нас откуда-то слева.

— За жену!.. — тут же передал могучий голос Самеда.

Но есть призывы, которые в самом жарком бою произносятся точно и, обойдя целый фронт и повторившись несчетное число раз, возвращаются неизменными. Они несут в себе имена наших великих вождей и священные сыновние чувства к родине...

Не ожидая переноса артиллерийского огня, нетерпеливо рванулась пехота на сближение с нашим морским десантом. Им там тяжело. Они дерутся, истекая последней кровью, пусть наше «ура» прибавит им силы, поддержит...

— Ур-ра-а-а!..

Теперь ты уже не бежишь — ты летишь на мощной волне, тебя несет вперед то напряжение, которое нарастало в каждом бойце и теперь взорвалось в этом крике. Это тот миг, которого ждешь иногда неделями. В такие минуты боя каждый солдат перестает ощущать себя отдельно от других. Его «я» растворилось, слилось воедино со всеми, кто ломится вперед сквозь шквалы огня с безмолчным криком, рвущим и груди и глотки:

— Ур-ра-а-а!..

Мне не раз довелось убеждаться, что вскипающий могучей волной вал наступательного штурмового «ура» — один из самых грозных богов войны.

Когда мы ворвались в район яхт-клуба, гитлеровцы кинулись во все стороны, бросая оружие. В свете зарева я увидел моряка, который, преследуя их, с разбегу швырнул за ними гранату, потом повернулся к нам и, тяжело хромя, пошатываясь, пошел нам навстречу. Голова его была забинтована насквозь пропитавшимся кровью бинтом, из-под которого смотрел один правый глаз. Он поднял руку с автоматом как бы для объятия, но вдруг, прижав грудью мою правую руку, прислонился ко мне, как будто мгновенно уснул... Я обнял его.

— Убери-ка руку... Спина... Там места живого нет, — прохрипел он.

Я отдернул руку. Ладонь была вся в его крови.

Рядом наши пехотинцы обнимались с моряками. Но на изъяснение чувств не было времени...

— Вперед! — раздался клич.

Мне показалось, что это был голос Володи.

— Бей! Бегут! Бей! — слышались многоголосые выкрики впереди.

Моряк тяжело навалился на меня, я заметил, что силы покидают его, и осторожно посадил на какой-то ящик.

— Ну, товарищ, ты тут отдохни... Придут санитары, — сказал я ему, убегая вперед.



— Ишь какой: отдохни!.. — слышалось вслед. — Я тоже вперед. Вперед!..

И он почти рядом со мной пустился неверным, тяжелым шагом преследовать убегающих немцев.

Под утро немцы покинули город «по стратегическим соображениям», как успокаивал Геббельс уже встревоженных за свою судьбу гитлеровцев.

Как всегда это случалось, на нашу долю выпало подавление разрозненных огневых очагов, очистка подвалов и чердаков.

Петя Ушаков подбежал к легковой вражеской машине, врезавшейся на перекрестке двух улиц в железный фонарный столб. Распахнув дверцу, он поддал ногой торчавший из-под сиденья зад...

— Выходи, собака!

Из машины с поднятыми руками вылез офицер в известной нам черной форме эсэсовца.

— Плен, плен... — бормотал он в испуге.

Не успел Сергей выкрикнуть «стой!», как Петя уже прострочил эсэсовца поперек груди автоматной очередью.

— Что ты, Петя!..

В первый раз увидел я у Пети Ушакова такое лицо: губы его искривились, усы встопортились, белки глаз налились кровью, ноздри раздулись. Он тяжело дышал и, злобно блеснув глазами на Сережу, молча начал вытаскивать из кармана фашиста его документы.

— На, ты ведь любишь «Золотое руно». Табачок наш — покури, — сунул он в руки Володи Толстова коробку.

Она показалась Толстову слишком тяжелой. Он открыл ее: в ней несколько пар часов, кольца, сережки, золотые зубы и мосты, выломанные у расстрелянных или еще у живых — кто знает.

Город, лежавший в развалинах, еще продолжал пылать. Странно выглядели отдельные уцелевшие дома. Мы обошли десятки улиц и не встретили жителей. Город был мертв, и каждая груда развалин взывала о мести.

Проходя мимо остатков кирпичного дома на южной окраине города, Володя вдруг дрогнувшим голосом произнес:

— Костя... зайдем...

Я все сразу понял: мы наткнулись на то самое, чего каждый из нас избегал в разговоре с ним во все эти дни. Мы знали, что Володя родом отсюда и что родители его жили здесь. Ему было известно, что они успели спастись от нашествия фашистской орды, но дальше следы их затерялись.

Теперь он глядит на эти развалины и говорит «зайдем», за которым

слышится «к нам». А зайти уже некуда.

Перед нами, подобные древнему склепу, стоят руины с одной обвалившейся стеной, возле которой нелепо торчит круглая крашеная печка.

— Вот... здесь жили мои... — говорит Володя. Губы его сложились в усмешку, от которой щемит сердце.

Он наклонился, разглядывая угол стены, даже провел по ней пальцем. Он словно ищет что-то. С каким-то смущением и неловкостью он разгреб мусор на полу комнаты и показал на фиолетовое пятно.

— Тут сестренка Танюшка чернила мои пролила... — усмехнулся он снова. — Любила «писать», а до школы тогда еще не доросла... Я, конечно, ее отшлепал... Вот видишь — на печке каракули: «П» — это «папа», а вот «М» — значит «мама». А «В» зачеркнула... за то, что отшлепал. Помирились, лишь когда я уходил на фронт, — я все же успел попасть домой... — Он продолжал рассматривать печку и вдруг, обрадованный, воскликнул: — Костя, Костя, гляди-ка! Опять написала! Вот видишь «В», «В» и «В»! Смотри сколько раз! — Он не выдержал, голос его задрожал.

Казалось, ему было легче вынести вид разрушенного города, родного гнезда, чем увидеть этот след детской тоски.

Через час, когда мы были уже на машине и двинулись на Тамань, Володя опять стал таким, как всегда. Он шутил, смеялся, но ни разу не оглянулся на свой разрушенный город.

## VI

Таманский полуостров отнюдь не самый красивый и уютный уголок на земле. Почва его постоянно сочится гнилой водой. Площадь его лиманов, пожалуй, превосходит площадь его земли. Ноги солдат то и дело попадают здесь в болотную топь. Ползешь — промокнешь, вскочил в пробежку — увяз. Особенно плохо, если угодишь сюда в марте, когда тает снег и непрестанно льют дожди.

Через весь полуостров тяжелой поступью прошли немецкие танки и колонны машин, потом — наши; и вот теперь он лежит, весь исполосованный их следами, покрытый холмами братских могил, грудями подбитых машин и горбатыми силуэтами сгоревших танков. По глубоко вдавленным колеям тяжелых военных дорог лениво текут мутные и сонные весенние воды.

После кавказской и кубанской пестроты так и кажется, что этот унылый полуостров притащили откуда-то со стороны и бросили тут, у западной двери Кавказа, как старый половик.

Таманский полуостров отделен лишь узким проливом от Керченского, еще занятого гитлеровцами. Видно, наша солдатская судьба готовит нас к прыжку через пролив в Крым. Никто, разумеется, нам об этом не говорит. Но мы дошли до крайних пределов суши. Тех фашистов, которых не уничтожили, мы сбросили в море. Дальше некуда наступать.

В справедливости наших солдатских догадок убеждает также и то, что нас обучают новому искусству: мы садимся в катер, он описывает в море полукруг в полусотне метров от берега, и мы должны, перемахнув через борт, выбраться на берег и тотчас открыть огонь. Тонуть не разрешается ни при каких обстоятельствах. Плавать в одежде совсем не легко. Кое-какие приспособления, которые могут спасти от смерти, не помогают от ледяной воды. Но удивительнее всего, что при этих купаниях мы разучились простужаться.

Только подумать: как бы разохались матери, жены, сестры, если, случайно вывалившись из лодки в эту пору года, ты явился бы мокрым домой! Здесь были бы призваны на помощь все силы современной науки и все снадобья предков, тебя уложили бы под одеяла, под шубы и под перины, поили бы горячим чаем, малиной, растирали бы и вздыхали. А здесь по глотку водки и новое купанье назавтра. Вот и все. Может быть, половина болезней человеческого рода происходит лишь оттого, что их так

боятся.

Трудно приходится Пете Ушакову: он решил взять ручной пулемет и захватил еще лишнюю пару дисков, не считая гранат. Вот он выскочил из воды, отстрелялся и, быстро раздевшись, стал выжимать гимнастерку. С Керчи летит снаряд. «Ложись!» Все упали. Взметнулся фонтан воды возле берега. Мы поднимаемся не очень-то чистенькие, но особенно не повезло Пете: он встает черный как негр от липкой береговой жижи, сердито стирает с уважаемых всеми нами усов прилипшую грязь.

— Вот хамство! — ворчит он.

Когда снаряды идут на тебя во время обстрела, ты различаешь, который опаснее, и вовремя падаешь на землю. Но когда налетает такой одиночный, шальной, все считают спасение от него какой-то особенной удачей. Веселое оживление охватывает всех.

— Это доказывает, милый Петр Афанасьевич, как сказал бы наш уважаемый гвардии старший сержант Константин Сарталеевич, — умышленно длинно и сложно шутит Володя, — что такого врага следует немедленно поставить перед вами так, чтобы вы его вышибли одним пинком из Крыма, а другим из Берлина!

Сам Володя, приморский житель, член того самого яхт-клуба, на территории которого произошла при взятии Новороссийска наша встреча с моряками-десантниками, — прекрасный пловец. Он первым выскочил из воды, ухитрившись даже не замочить нагрудные карманы, и первым переоделся.

— Оказывается, в море вода как вода. Нехорошо, что холодная очень... — отзывается Самед. — У нас в Узбекистане ходить по воде одна радость. А холода я не люблю.

— Ничего, Самед, когда из холода выскочишь в жаркое дело, — сразу согреешься! — обещает Вася.

Володя шутит со всеми. Он называет Петины усы моржовыми, он поддразнивает и меня, и Сергея, и Васю, и уральского лесника Егорушку, детину не меньшего роста, чем был наш Зонин. Володя уверяет, что тот не утонет на любой глубине, потому что голова все равно будет торчать из воды. Шутки его никому не обидны, и только Петя, взъерошив усы, глухо огрызнулся на него без тени улыбки и принялся чистить свою записную книжку. Он сберег ее от воды, положив в пилотку, но не спас от грязи, когда упал. Он перелистывал и деловито вытирал каждую страницу.

— Что, Петя, смыло твой счет? — настойчиво втягивает его Володя в общий шутливый тон.

— Нет, счет мой не смоешь, он останется, — все еще сердито отвечает

Петя.

Петя ведет свой личный счет по графам: солдаты, офицеры, автомашины и танки. После каждого боя он аккуратно уточняет свои боевые дела и, лишь получив подтверждение товарищей, пишет в свою книжечку. Счет его давно уже перешел за две сотни, но, как ему кажется, он ничего не прибавил в список во время ночного боя за Новороссийск. Обычно в большом бою, особенно ночью, трудно учесть убитых лично тобою врагов, а приписать себе целый город неловко.

Я думаю, что наш Петя вернется домой с войны суровым и недоступным для шуток, предельно требовательным и к себе и к людям.

— В твоей бригаде, где бы ты ни работал, уж будет порядочек! — замечает Сережа.

— А в твоей не будет? Нет, брат, ты тоже будешь работать, как и теперь. Ну-ка, Костя, прочти ему снова письмо твоей матери. Пусть запомнит, как женщины работают сейчас: каждая за троих.

На эту тему Петя может говорить так убедительно, как будто он всю войну только и думает о колхозном труде, словно завтра весь взвод выезжает на посевную.

— А где этот Геленджик? Там, может быть, будет лучше? — спрашивает Самед у Володи.

— Вода будет глубже и берег намного выше.

— А грязь?

— Нет, грязи не будет.

По солдатским рядам ходит слух, что нас перебрасывают для тренировки в Геленджик. Из этого заключаем, что где-то нас ждут высокие берега и настоящее море. Я не боюсь ни моря, ни высоких берегов, но у меня есть причины сожалеть о том, что мы уйдем с Таманского полуострова. В последние дни я совсем уже близко слышу голос Акботы: ее письма доходят ко мне на второй день. Где-то за этими лиманами или за теми невысокими краснеющими холмами живет Акбота. Я теперь даже пою казахские песни, чтобы она услышала, если случайно пройдет мимо. Я пою самые душевные песни, но петь можно лишь во время отдыха в блиндаже. Может быть, именно поэтому меня и не слышит Акбота. Что стоило бы ей случайно пройти мимо нашего блиндажа и, услышав знакомую песню, зайти и, отдав по уставу приветствие, звонко и весело выкрикнуть:

— Товарищ гвардии старший сержант, разрешите обратиться!

Однако, как ни мил такой вариант встречи мужа с женой, мне он кажется не самым блестящим. А вдруг передо мной появится женщина в

ловко подогнанной офицерской шинели и спрашивать разрешения обратиться придется мне? Отставить! Пусть лучше она ответит мне подобной же песней. Однако война — не опера, и этот вариант быстро исчезает. Мне мучительно хочется видеть ее, но как?

Война разорила миллионы семей. В нашем родном гнезде живет и храбрится одна старая мать. Брат — на крайнем севере, я на крайнем юге. И вот ты чувствуешь где-то тут, рядом, близкое существо, можно сказать — жену, но она, оказывается, так же далеко от тебя, как если бы жила дома.

— Могу ли спросить, чем ваше лицо омрачилось, начальник мой? — говорит всегда веселый Володя.

— Истинный воин всегда одолеет печали и горести своего сердца, — стараясь попасть ему в тон, отвечаю я.

— Самед, расскажи про муллу Насреддина, — просит Сережа.

— Потом, сейчас будет отбой.

— Успеешь! Вон там за косой ребята еще из воды вылезают.

Самед уселся удобней и принял самый серьезный вид.

Он знает бесчисленное количество рассказов про муллу Насреддина и обладает большим даром юмора. В его рассказах мулла Насреддин оживает в окопах Отечественной войны, попадает в разведчики и забирается в гитлеровский штаб, топит фашистов в каком-то колодце, в котором мерещатся им пресловутые «курки» и «яйки», он встречает Рузвельта с Черчиллем на Тегеранской улице и задает им коварные вопросы о втором фронте.

Сигнал к сбору. На катерах возвращаемся к блиндажам.

Все эти дни я пристально наблюдал Самеда. Он попал к нам из госпиталя в последние часы перед посадкой на самолет, доставлявший нас к Новороссийску. Он три раза ходил уже с нами в разведку и проявил себя как отважный и умный солдат. В бою за Новороссийск он смело вскакивал в рост, кидая гранату, метко стрелял, а в рукопашной дрался, чем мог, вплоть до приклада. Длинный, сухой, худощавый... Я силился угадать, кто он по профессии. Колхозный счетовод, учитель начальной школы, может быть, агроном или техник-смотритель? На поверку он оказался киномехаником, разъезжающим на мотоцикле по чайханам и колхозам и ухитрявшимся за вечер проверить фильм на трех-четырех экранах. Может быть, отсюда и взялась его живая оперативность и аккуратность, с какой он выполняет и боевые задания, и самые незначительные поручения.

Он делает все с какой-то особой легкостью, которая порой производит впечатление беспечности. В минуты опасности два ряда его белых зубов сверкают товарищам улыбкой, словно ему самому никакая опасность не

грозит никогда. Самед со всеми сошелся попросту, по-солдатски — на «ты». Только со мной он сохраняет уставное «вы» и тон подчиненного, но острые карие его глаза в это время весело и дружески говорят мне: «Давай перейдем на „ты“». Шутка срывается с его языка и тогда, когда, казалось бы, шутить не время. В любом случае он вспомнит народного мудреца муллу Насреддина и его изречение. Но его беспечность и шутливость никого не раздражают; наоборот, все ему благодарны.

Когда мы вернулись к себе в блиндаж после очередного купанья, я подошел к нему и протянул свой кисет.

— Мулла Насреддин советует не всегда подчиняться корану, — сказал Самед, принимаясь крутить козью ножку.

Прищурившись, он взглянул мне прямо в глаза и сказал тоном не предположения, а утверждения:

— Товарищ гвардии старший сержант решил разобраться, что я за чудака... Верно?

— Нет, нет, — пробормотал я, несколько растерявшись от прямого вопроса. — Просто я хотел бы узнать, откуда у вас столько интересных рассказов...

— От старого друга, которого повстречал однажды во время боя, — ответил Самед.

— Я слышал, что вы со Сталинградского фронта...

— Да, пришлось... — произнес он кратко, и по лицу его прошло мрачное отражение пережитого.

— Что же ты не расскажешь нам о сталинградских боях? — спросил я, чувствуя, что и ему самому хочется поделиться воспоминаниями. — Сталинград и для нас родной город, на Кавказе мы тоже дрались за него... Расскажи!

— Этого не расскажет вам ни один солдат, — ответил Самед, — пожалуй, и целый полк солдат не расскажет. Разве, если собрать батальон генералов, они кое-как с этим справятся...

— А ты расскажи, что видел сам.

— Не так уж много... Солдат ведь видит лишь то, что у него на линии прицела... Три месяца и три дня я почти не двигался с места. Мы держали дом. Это был превосходный дом — с каменными сводами, с железобетонными столбами, ему бы века стоять. Справа от нас был большой красивый театр, а за ним виднелся широкий прекрасный город. Сначала я сидел с пулеметом на чердаке. Через три дня у нас снесли верхний этаж. Мы спустились пониже, вместо разбитого пулемета поставили другой. Тогда стало видно меньше, театр все перед нами закрыл,

кроме ближайшей улицы. Потом день за днем у нас разбивали по этажу, и мы оказались в подвале. Над нами висел наполовину заваленный свод да торчали бетонные столбы, — вот их мы и защищали. Ты бывал в Самарканде? Нет? К возвращению Аксак-Темира с войны его самая красивая жена Биби-ханум приказала построить удивительную мечеть. Когда глядишь на нее, всегда жалеешь, что время разрушило эту чудесную красоту. Но время трудилось шесть веков, а тут у нас на глазах целый город превращался в развалины хуже мечети Биби-ханум. За три месяца от нашей роты осталось всего девять человек. Мы забыли, каким бывает лицо человека, когда он смеется, забыли, как звучит голос, когда человек шутит. Когда нас осталось семеро, немцы бросили прямо на нас батальон в атаку.

Командир послал меня просить подкрепления. Пока я пробирался сквозь летящие камни, чугун и железо, настала ночь. Подкрепления мне не дали, я возвращался назад и слышал, как насаждают немцы на наших. В эту минуту я думал больше всего о том, что надо во что бы то ни стало добраться живым до своих ребят, — ведь я был для них все-таки подкреплением... И тут-то мне встретился старый друг, который шепнул мне несколько слов и заставил меня улыбаться. Это был мулла Насреддин. Так мы с ним и ползли по развалинам, обсуждая его совет. Когда мы добрались до наших, их было в живых всего трое. Фашисты все наседали. Но мы с Насреддином испортили им все. «Ия, ханнан!» — закричал Насреддин, бросая гранату, и, выскочив из укрытия, кинулся с автоматом навстречу фашистам... Я за ним, а ребята за мною — и фашисты бежали. Насреддин обманул их: они подумали, что у нас появилась целая свежая рота. Мы с Насреддином получили за это дело орден Отечественной войны и с тех пор сговорились не расставаться.

Самед улыбался весело и тепло. Я крепко пожал его руку.

— Ладно, друг Самед, шевели почаще муллу Насреддина. Пусть с нами воюет. Хороший солдат на войне не бывает лишним!

Солдатские слухи оправдались. На рассвете наш катер на самой большой скорости сделал обычный свой полукруг на новом месте — под высоким берегом Геленджика.

— Это Фальшивый Геленджик, — шепнул мне Володя, но не успел объяснить, что значит «фальшивый», и прыгнул за борт.

За ним — Самед, Егорушка, Петя, Сергей, Василий.

Подходил и второй катер.

Самед и Егорушка, достав дно ногами, хотели идти к берегу.

— Плыть! — крикнул я.

До утра мы трижды атаковали с моря берег под треск автоматов и



взрывы «гранат» с берега, где находился условный «противник».

Володя был лучший пловец, но Петя опережал его и быстро открывал огонь. Вынырнув из ледяной воды, как из-под тяжелого одеяла, он раньше всех давал очередь из ручного пулемета, подавляя береговой огонь «врага». Слабее всех оказывался Сережа. Последним он выходил из воды и последним вскарабкивался на камни.

— К вечеру я сравняюсь со всеми, вот только сменю сапоги — велики! — все храбрился Сережа.

Холодное солнце поднималось из-за хребтов, когда мы, быстро выжав одежду, оделись и схватились за фляги.

— Магомет не велел пить вина! — смеялся Самед, постукивая зубами о горлышко фляжки.

Выпив глоток, Сережа делает «бег на месте», а Ушаков все еще выжимает свою гимнастерку.

— Крепче жми, чтобы больше не промокало! — бодрят они друг друга.

Мы все уже оделись и вылили воду из сапог, и хотя по телу уже разливается тепло от глотка спирта, но зубы еще постукивают и не хватает веселого дружного смеха, чтобы согреться. Смех — это внутренний огонь человека.

— У аллаха была два жена... — вдруг, нарочно искажая язык, начинает Самед один из своих анекдотов.

От неожиданности поднимается общий хохот.

Наш дружный смех, отдавшийся в голых прибрежных скалах, привлек внимание сидевших невдалеке на камнях трех человек. Они направляются к нам. Мы узнали капитана Мирошника. Рядом с ним двое других в мешковатых авиационных комбинезонах. Дав команду «смирно!», я жду приближения капитана. Преодолевая озноб, ребята вытянулись. И вдруг в том из летчиков, на котором были погоны подполковника, я узнал самого близкого мне человека: к нам подходил Шеген.

Я стоял перед ним промокший, иззябший, но полный гордости за пройденный мною хороший путь. Глаза его встретились с моими и сразу согрели меня всего. Шеген, как старший из офицеров, подал команду «вольно!» и обратился к Мирошнику:

— Тут мой братишка у вас, товарищ гвардии капитан.

Нет, мы не бросились друг другу на шею, не целовались. Ничего такого не произошло. Мы даже не похлопали друг друга по плечу.

Каждый из нас, поближе взглянув на другого, понял, как воевал и как воюет другой.

Пути наши скрещивались не раз, когда Шеген пролетал над моей головой. Это бывало, как оказалось, так часто, что все то, что я мог рассказать, он знал наизусть.

Очевидно вспомнив прежнее свое отношение ко мне, Шеген вскользя заметил:

— Ну, ты в этой войне видел, пожалуй, побольше, чем я со своей высоты.

Я промолчал.

Незаметно мы коснулись темы, которая когда-то показалась мне детской для беседы с Шегеном.

— Помнишь свой первый день в Гурьеве? — спросил он меня, и в его глазах я прочел все наше гурьевское лето.

Передо мною встал и сам город таким, каким я впервые увидел его: скученный, тесный, шумный, как базарная толпа. Мне казалось тогда, что дома поставлены один к другому так близко потому, что все люди живут на базаре, а город и есть базар. Не то было в ауле... Пошлет тебя Кара-Мурт кликнуть дядю Сабита. И перед тобой лежит целое поле — ни улиц, ни переулков. Побежишь через все дворы, перепрыгнешь через знакомую собаку, нарочно свернешь еще в сторону, чтобы перескочить через привязанного тельца, пробежишь через крышу землянки... Теперь даже удивительно, как такая землянка не обваливалась на своих жильцов. В такой землянке жил и я, в такой же родился и жил в своем раннем детстве Шеген. Мы с ним могли вспоминать даже и то, что переживали когда-то порознь, так много общего было у нас в самом начале жизни.

Перебивая друг друга, вспоминали мы дальше и то, что переживали уже вместе.

— Помнишь нашего милиционера? — с прояснившимся взглядом строгих холодных глаз напоминает Шеген и, не дожидаясь ответа, с оттенком восторга сам отвечает: — Как он хотел, чтобы мы учились!

— Он теперь председатель у нас в колхозе.

— Да ну? Дай его адрес. Я напишу и pošлю ему карточку. — Шеген достает записную книжку. — Вот кстати... — Он протянул фотографию маленькой женщины с ребенком на коленях. — Жена и дочурка. Жена тебя знает не хуже, чем я сам. Целый месяц во время отпуска я ей рассказывал о нашем детстве.

Шеген записал в свою книжку адрес нашего колхоза, потом и мой, оторвал листок и написал номер своей полевой почты. Свернув листочек, он протянул его мне, а я спрятал его за отворот пилотки.

— Знаешь, Костя, не будем больше терять друг друга из виду.

Наверное, вместе дойдем до Берлина... До скорой встречи, — прощаясь, сказал Шеген.

— В Берлине?

— Ну что ты! Увидимся раньше. Теперь-то я знаю, что мы все время соседи и воюем вместе.

Дня через два мы научились мгновенно взбираться на берег из воды, и даже Сережа не отставал от других.

Нам выдали новое обмундирование. Сапоги были на таких толстых подметках, что с ними можно было бы пройти и дальше Берлина.

Ночью перед строем всей роты командир прочел нам специальный приказ Верховного Главнокомандующего по нашей части: на эту ночь был назначен десант на Керченский полуостров.

На листе приказа мы написали свою солдатскую клятву выполнить боевое задание.

## VII

Черный берег кипящего моря. Резкий ветер пронизывает нас, и неприятно думать о том, что в этой холодной ревущей воде придется еще купаться. Мы ждем, когда пройдут катера.

— Готовься! — слышится команда Ревякина в расположении соседнего взвода, в двух десятках метров от нас.

Мы уже давно готовы. Солдатские сборы не сложны. Сквозь ворчание моря ветер доносит до нас рокот моторов. Идут? Нет, обман слуха.

Я писал Шегену, когда в блиндаже появился Ревякин. Он пришел поговорить о предстоящем задании.

Вам предстоит десант в тыл врага. На какое-то время этот десант может быть отрезан.

Ревякин готовил нас к самым большим неожиданностям.

Речь шла о том, о чем говорил Ушакову Володя: крепким пинком выбить врага из Крыма. Для этого в первую очередь надо было создать плацдарм. Наша задача заключалась в том, чтобы вскарабкаться на Керченский полуостров с его южной стороны. На северной давно уже держалась другая группа.

Заканчивая беседу, Ревякин вынул из сумки и положил перед собой несколько сложенных треугольничков — писем. И по тому, как взгляд его остановился на мне, я понял, что одно из них от Акботы. Ревякин давно уже научился угадывать ее письма по почерку.

И точно, когда он роздал нам письма, одно из них досталось Васе, другое мне. Раскрыв его, я привскочил: письмо Акботы было написано в этот же день утром...

— На письма отвечайте сегодня же, лучше сейчас, — многозначительно подчеркнул Ревякин.

Но мы и сами понимали, что после подобной беседы до начала боевой операции проходит не много времени.

Итак, Акбота где-то рядом. Может быть, в нескольких сотнях метров. Может быть, завтра я мог бы ее разыскать.

А вдруг мы и в самом деле еще никуда не уйдем сегодня! Может ведь быть, что операция предстоит не сегодня, а завтра.

Однако на всякий случай я написал ей письмо, поручая ее попечению Шегена, заочно представив ей его как своего старшего брата. В письме к Шегену я приписал просьбу разыскать Акботу и сообщил ее адрес. Не

стесняясь в выражениях, я рассказал, как больно узнать, что она совсем рядом, а у меня уже нет ни времени, ни возможности ее разыскать. О предстоящем десанте я, разумеется, ничего не писал.

Кончив оба письма, я вынул из-за отворота пилотки листок Шегена, на котором он записал номер своей полевой почты... Я взглянул на него и зажмурился, как от молнии: это была та же самая четырехзначная цифра, что и на адресе Акботы, только после цифры вместо привычного «А» стояла литера «Д»...

Война запрещала нам сообщать друг другу о точном месте пребывания части и о характере части. Я, правда, писал Акботе, что я разведчик, она же, как женщина, была педантичнее меня и ничего не писала. Но как я сам до сих пор не мог догадаться, где в армии место «командирам ветров» и «хозяевам облаков». «Нужно было быть совершеннейшим дураком и тупицей, чтобы не понять, что она в авиации!» — укорял я теперь себя.

— В первом квартале план перевыполнен на двадцать три! — выпалил Гришин.

— Как? Что за план? Ты откуда свалился? Квартальный? На двадцать три?.. — Я не понял, о чем он мне сообщает. — Постой, что за план? Квартальный?

Он качнул головой.

— Карагандинский! Чего же тут не понять? И завод пустили...

— А... да, да... Поздравляю...

Вася отвечает: «Спасибо». Он уже так сроднился с Карагандой, что моя непонятливость его обидела. Он думал обрадовать вестью с родины, и ему кажется, что я недостаточно радостно принимаю его известия.

Но я размышлял о другом. Если еще останется завтрашний день, я отпущусь у Мирошника на аэродром с попутной машиной. Я знаю, что он здесь всего в десяти километрах.

Однако как раз в это время нас выстроили, и вот мы стоим, ожидая прибытия катеров.

Я рассказал Володе о том, что случилось, сознавшись, что теперь я боюсь опять оказаться вдали от жены. У меня только что создалась иллюзия близости и относительного благополучия в нашей с Акботой «семье» — и вот.

— Ходжа Насреддин говорил мне как-то, — вмешался Самед: — «Плохо мужу, когда он не знает, где его жена и что она делает. Но аллах посылает мужьям такие испытания, чтобы они знали, что жены тоже не любят неизвестности о судьбе своих мужей...».

Самед прервал свою премудрую тираду, прислушиваясь к грохоту

волн. Да, это уж не просто рокот волн, это моторы... Значит, идут катера.

Моторы гудят громче. На черной волне мелькнули при свете пробившейся из облаков луны силуэты катеров. Они взлетают на гребнях и снова отходят, опасаясь камней.

— Готовься! — звучит рядом с нами команда капитана Мирошника.

Вися на волне, выныривает из моря катер и задерживается у берега.

— Ия, ханнан! — восклицает Самед, вваливаясь в катер.

Рядом я вижу громадную фигуру его соседа, Егорушки. Я узнаю остальных людей, прыгающих на палубу. Мы все держимся за поручни. Волна подбрасывает катер вместе с нами, но вот он становится тяжелей и устойчивей от нашего груза. Капитан уже в катере.

— Сарталеев, все погрузились?

— Так точно!

— Горин, ваши тоже все?

— Так точно.

Наперерез гривастым волнам, то взбираясь на них, то скользя, как с горы, идет наш катер. Когда он всползает, как жук, на гребень волны, на миг нам становятся видны другие катера. Сначала мы видели их рядом, теперь они расходятся в разные стороны и исчезают.

Море бьет наше суденышко спереди, сзади, в бока, вскидывает вверх и бросает в пропасть.

— Дно ада не глубже, — замечает Самед.

— А ты видел?

— Сам не видал. Ходжа Насреддин письмо написал оттуда...

На нас все до нитки промокло. Согреться движениями не позволяет теснота. Окоченевшие пальцы не чувствуют поручней, за которые мы держимся. Рулевой смело режет волны.

— А что еще пишет Ходжа Насреддин? Самед, расскажи...

В открытом море катера подтянулись, сблизилась. Мы снова увидели при луне, какая мы грозная боевая армада. И вот, круто свернув, катера помчались к берегу.

Как ни силен был гул моря, немцы уловили звук моторов и открыли огонь. Над нашими головами взревели фашистские самолеты, и вдруг высоко над нами стали зажигаться висячие огни осветительных бомб, ярко освещающая нашу флотилию. Обстрел с берега усиливался. Снаряды падали меж катеров, взметая фонтаны воды.

— Ия, ханнан! Попади!

Самед приложился и выстрелом сбил повисший над нами яркий огонь.

Очереди трассирующих пуль скользнули из катеров по ракетам, гася

огни. Но снаряды и авиабомбы все гуще сыпались на десантный отряд.

Наш катер шел быстро к берегу. За ним в свете ракет тянулись два длинных седых буруна. У берега стояла стена огня — ракеты, трассирующие пули, разрывы снарядов и бомб. Но наш катер был почему-то вне этой зоны, как будто бой был не с нами: пули свистали выше наших голов, самолеты бомбили сзади.

— Мы оторвались от остальных, — спокойно заметил Мирошник, — но для нас это к лучшему.

Понять мысль капитана было нетрудно. Фонтаны воды остались у нас за кормой. Пройдя освещенную полосу, катер опять попал в густой мрак. Мы проскочили зону огня, перед нами уже чернел берег.

— Никто не ранен? — спросил капитан.

— Никто как будто.

И только через минуту, преодолевая смущение, признался Сережа:

— Мен я немножко задело...

Он оказался ранен в правую руку. Любая другая его рана не так огорчила бы нас, как эта. Пусть он сейчас солдат, но мы видели в нем будущего художника.

— Совсем пустяки... — бормотал он, когда ему перевязывали рану.

— На этом же катере вернетесь назад! — приказал Мирошник.

Невдалеке от берега катер сделал обычный свой полукруг.

— Прыгай! — скомандовал капитан и первым кинулся в воду.

Так мы расстались с Сережей, даже не успев попрощаться. Кто знает, как он доберется, все-таки лучше быть со всеми вместе... Один только Петя, снимая с него автомат и гранаты, успел обнять его, прежде чем прыгнуть в море, которое кипело у берега, как котел.

Выпрыгнув, я ощутил под ногами морское дно, но над моей головой сомкнулась глубокая ледяная вода, которая в первый миг просто сковала движения. Инстинкт рванул мое тело вверх. Я выскочил до плеч над водой и всей грудью глотнул ночной воздух. Волна подхватила меня, обдала, понесла, и я ощутил было под ногами камни, но тяжелым ударом меня опрокинуло снова и повлекло в глубину. Следующий удар волны выбросил меня опять на камни. Я ухватился за них и в момент отлива успел убежать от волны.

Передо мной во мраке выросли двое. Я вмиг вспомнил про свой автомат и вскинул его.

— Отставить! — негромко остановил меня капитан Мирошник.

Каждый по-своему преодолевал коварство морского прибоя. Выбрались из воды все. Пилотки, сумки и прочий лишний груз остались в

море. Автоматы и боеприпасы полностью сохранились. Море отпускало бойцов по одному и по двое. Выброшенный одним из последних, Самед кинулся к Володе.

— Ия, ханнан! — крикнул он.

Перед нами высился крутой каменистый берег. Почти над самыми нашими головами два немецких пулемета как бы нехотя, с паузами посылали очереди в морской простор. Немцы видели, что катера ушли, считали десант отбитым и, видимо, огрызались на всякий случай. Так собаки аула лениво откликаются на драку в соседнем ауле.

— Тут просто рай, — сказал Самед, — только плова не хватает!

Но мы и без плова отпили по глотку из фляжек со спиртом.

Где-то, много левее нас, продолжался артиллерийский обстрел моря и не слабел. На море не было больше видно ни одного катера, который шел бы в нашу сторону. По движению ракетных огней, по разрывам шрапнели и по полету трассирующих пуль с берега можно было предположить, что десант повернул назад. Бой на море не был ни в задачах, ни в возможностях нашего десанта.

Лежа на животах под самой кручей берега, мы по предложению капитана Мирошника открыли первый «военный совет».

Ожидая, что немцы сейчас начнут «прочесывать» берег, мы выслали в обе стороны вдоль узкой береговой полосы по одному человеку в дозор.

— Ширина территории у нас сейчас ровно пять метров. Над нами камни, а за спиной море. Это как раз и есть то самое, что называется «в тесноте, да не в обиде», — сказал капитан, взяв бодрый и несколько даже веселый тон. — Отступать нам, друзья, как видите, некуда. Зато наступать простору сколько хочешь. Значит, мы с вами пойдем в наступление. Полуостров-то наш, советский. Докажем немцам, что мы хозяева нашей земли, пусть они от нас отступают!

Мы помнили клятву, данную при оглашении приказа. Наш «военный совет» решил наступать.

Каждый из нас понимал, что десант в два десятка бойцов не способен брать города. Но держать территорию, с которой он подаст помощь следующему, более крупному десанту, он может, если не потеряет голову. Этой головой для нас был капитан Мирошник. А двадцать бойцов, которые знают себе цену, под командой умного и смелого командира могли стать силой. Мы знали, что пришли сюда не на прогулку. Мы все приготовились к тому, что здесь, может быть, нам придется отдать жизнь за родину. Но это не означало, что мы собираемся погибнуть как придется, умереть как попало.



Пулеметы немецкой береговой охраны продолжали еще на всякий случай обстреливать темное шумящее море, изредка освещая ракетами прибрежную полосу.

Пока мы лежали под каменистым берегом, задрав ноги, чтобы из сапог вытекала вода, шинели наши немного обсохли, оружие было осмотрено и приведено в боевую готовность. Капитан разделил наш отряд на две группы. Левым крылом он командовал сам, а правое передал мне.

Карта местности всем нам была знакома. Мирошник ее уточнил.

— Если мы не так далеко отклонились, то в трех километрах отсюда должна быть деревня, которую нам нужно проскочить с быстротой пули. В полукилометре на север есть курган. По плану большого десанта, наша рота была назначена на захват этого кургана. Будем действовать так, как был отдан приказ. Боевая задача остается прежней: захват господствующей над берегом высоты к северу от деревни. Всем ясно?

— Так точно, ясно.

Затем капитан дал каждому бойцу особый лозунг, чтобы голосов казалось больше: «Смерть фашистской гадине!», «За советскую землю!», «Смерть оккупантам!» «За Крым!», «Вперед до Севастополя!». Как только капитан крикнет свой лозунг «За родину!», голоса бойцов не должны умолкать, пока не достигнем намеченного кургана.

Капитан Мирошник распределил между нами также и команды: «Украинский батальон, вперед!», «Казахский батальон, вперед!», «Узбекский батальон, за мной!».

И никому не показалось смешным, что в каждом из этих «батальонов» будет всего по одному человеку. Мы должны были заменить целый полк.

— Продвигаться молча, пока не натолкнемся на сопротивление. Ориентироваться по мне, — заключил капитан.

Я шел со своим отделением, придерживаясь установленного капитаном интервала между бойцами в десять метров. В пятидесяти метрах левее шел со своими бойцами наш капитан.

Мы выбрались наверх бесшумно, но на первой же полусотне шагов от берегового обрыва осиное гнездо загудело, и завязался бой.

Наш капитан крикнул свой лозунг. Я подал самую протяжную на свете команду:

— Ка-аза-ахский ба-та-льон, впереед!

Командиры наших «батальонов» прокричали не менее грозную команду, загремело «ура», и наш «полк» рванулся в атаку под треск автоматов.

Мы действительно наступали на врага, как целый полк, но вместе с

тем стремились к намеченной цели, как к убежищу. Опыт говорил нам, что на кургане должны быть окопы, а может быть, и пулеметные гнезда.

Наши голоса раздавались не умолкая. Самед горланил свое странное и свирепое: «Ия, ханнан!» Мы забросали гранатами несколько немецких окопов и, не вступая в рукопашную схватку, промчались над ними к цели. Застигнутые врасплох, немцы кидали гранаты, которые рвались у нас за спиной уже на безопасном расстоянии. Другие, испуганные шумом и взрывами, бросались в бегство.

Как было приказано, «со скоростью пули» мы проскочили деревню, пустив по улицам веером очереди из автоматов.

Перед нами обрисовывался на фоне неба горб намеченной высоты. С высоты из двух точек в темноту ударили пулеметы. Но по нас били не только эти два пулемета: били справа и слева, спереди, сзади, били на голоса, на взрывы гранат, на звук поднятой нами стрельбы.

Поднятая немцами суматоха нас и спасла: со стороны создавалось впечатление, что ведется мощный перекрестный огонь большого ночного боя. Меньше всего было здесь нашего огня. Но немецкая стрельба помогала нам, — мы пробегали уже сквозь вражеское расположение, и поднятая нам вдогонку пальба поражала самих немцев, которые, разумеется, принимали ее за огонь противника. Им казалось, что полк, а может быть, даже и два ворвались на полуостров и в темноте, все сменяя, двигаются вперед.

Мы добрались до кургана с такой быстротой, что пулеметы обстреливали только наш след. словно постепенно просыпаясь, отвечали на них пулеметы уже по всей окрестности. Немцы, нервничая, открывали огонь, казалось, по всему полуострову. Как признался потом капитан Мирошник, у него, так же как у меня, на несколько минут тоже возникла надежда, что мы не одни, что, может быть, вслед за нами пошли в атаку бойцы, высадившиеся по всему побережью.

Мы находились уже у подножия кургана, и над нашими головами свистели только случайные пули. На курган мы вскарабкались без единого выстрела, прикрытые темнотой, потом, поднявшись, с внезапным криком атаковали вершину. Несколько серых фигур выскочили из темных окопов под наши автоматные выстрелы.

— Ложись! — скомандовал нам Мирошник.

Раздались взрывы. Несколько гранат полетело в щель дота.

— Хенде хох!<sup>[8]</sup> Ия, ханнан!

Гарнизон фашистского дота был уничтожен.

— Ни на минуту не прекращать обстрела склонов кургана! Найдите

ракеты, пускайте во все стороны! Пусть считают, что курган в их руках.

Володя и Егорушка принялись бить из оставленных немцами пулеметов.

— Сарталеев, иди посмотри расположение и доложи, что у нас за хозяйство!

Бойцы работали четко и быстро. Дот был очищен от убитых немцев, в небо взвились ракеты.

Я с Петей осматривал укрепление, капитан знакомился с хозяйством внутри блиндажа.

Высота оказалась хорошо укрепленной, хотя еще не законченной оборудованием. Главное помещение железобетонного дота соединялось подземными ходами сообщения с двумя боковыми бетонными пулеметными гнездами. Глубокие крытые траншеи вели к замаскированным боевым ячейкам стрелков-автоматчиков. Здесь была даже бетонная артиллерийская площадка для кругового обстрела, но без орудия.

Я доложил обо всем. Капитан Мирошник в недоумении пожал плечами.

— Какого черта они так дешево отдали нам всю эту штуку?

— Не обижайтесь, пожалуйста, на них, товарищ капитан, — подал голос Самед, считавший трофейные боеприпасы.

Разбирая оставшиеся трофеи, мы нашли план захваченного укрепления. Подсчитали свои потери. До вершины кургана не дошло семь человек. Мы были уверены в том, что среди наших бойцов нет сдавшихся в плен. Для трех с половиной километров боевого пути и для такой операции, как захват укрепленной господствующей высоты в самом центре вражеской территории, это были сказочно малые потери. Если бы эта операция была проведена батальоном в полном составе и высота захвачена с потерей трети бойцов, ее можно было бы считать выполненной отлично.

Капитан наметил по плану, где расположить огневые точки.

Наша рота, как головной отряд десанта, должна была водрузить над курганом знамя. Петя вынул из-под шинели доверенное ему знамя Ростовского райкома комсомола.

— Товарищ капитан, разрешите водрузить наше знамя над дотом?

— Подождем, сержант Ушаков.

Телефон непрерывно гудел.

— Сарталеев, позвать ко мне Гришина! — приказал капитан, рассматривавший документы убитых немцев.

Вася явился.

— Возьмите трубку. Вы будете обер-ефрейтор Груббе. Скажите им, что

у нас все спокойно, атаки отбиты.

Вася взял телефонную трубку и заговорил по-немецки:

— Алло! Так точно... Обер-ефрейтор Груббе... Так точно... У нас все спокойно... Да, да... Мой голос? Я не Груббе? — Лицо у Васи вытянулось. — Обер-лейтенант Вайсберг спит... Да... Я не Груббе? Я свинья? — И внезапно Гришин закончил по-русски — Сам ты сволочь, собака! Попробуй, сунься!

— Ты что? — подскочил на месте Мирошник.

— Все равно не верит. По-русски ругается, сволочь! — пояснил Василий и продолжал кричать в трубку: — Я — большевик, а ты сукин сын, фашист! Вот мы вас теперь придавим! В плен? Но-но! Не на тех напали! Ничего, нас тут хватит! Чего? Дурак ты! Сначала возьми курган, а потом посмотрим... Веревок на всех не хватит. Оставь себе удавиться!

— Ну довольно, пошли их к чертям! — приказал Мирошник.

— Наш генерал приказал послать тебя к... — разошелся Гришин. — Виноват, товарищ капитан! — вскочил он перед Мирошником, бросив трубку.

Мирошник махнул рукой.

— Ушаков! — позвал он. — Разверните над дотом советское знамя.

## VIII

Первая ночь прошла в подозрительном молчании и томительной тревоге. Ничего нового в наше положение она не внесла.

На самом маленьком островке, какой только может существовать на свете, в полном неведении о том, что творится вокруг и что ожидает наутро, осталась горстка советских бойцов.

Десант, не удался. Потоплены ли наши катера или отбиты, повернули они назад или половина их лежала на дне моря, мы ничего не знали. В нашу сторону не раздавалось ни выстрела, только изредка из окружающего нас враждебного мира поднимались огни цветных сигнальных ракет. Наше охранение также в свою очередь выпускало осветительные ракеты — их было у нас достаточно.

В центральном помещении дота нас семеро.

— Тоже пускают огни, — вслух заметил Самед, наблюдая сквозь щель.

Никто не ответил ему. Мысли всех заняты совершенно другим. Мы все сидим молча и неподвижно, словно каждый прирос к своему месту. Помимо вдруг сказавшейся усталости всех нас охватили тяжелые думы.

Только вчера каждый из нас мечтал, что уже в этих-то сапогах мы дойдем до Берлина. Сейчас мы сидим в непривычной гнетущей тишине, отрезанные от родного советского мира. Каждый делает вид, что ему хочется спать, и надо бы спать, чтобы стать бодрей и боеспособней: ведь через два часа надо сменить бойцов, засевших по гнездам. Но сон не берет нас. Все мы сидим или лежим на нарах, и каждый упорно думает.

— Товарищ Насреддин как-то сказал мне: «То, что думаешь ты, может думать и твой враг», — обратился Самед к Володе. — О чем твои мысли, друг?

— О том, что немцы считают, будто наши минуты уже сочтены и мы у них просто в кармане.

— Ай-яй-яй! Никогда не считай врага глупее себя! — возразил Самед. — Враг не дурак, он понимает, что в таком кармане можно потерять собственную руку! — переходит Самед на свой обычный тон. — Ты, мой дорогой Володя, говоришь так потому, что боишься. А мулла Насреддин говорит иначе: «Если хочешь казаться врагу страшным, то прежде всего не бойся сам».

— А про нас он не сказал чего-нибудь? — с усмешкой вмешался Вася.

— Вот это про нас и сказал!

— А твой мулла сам-то был на войне? — обратился к Самеду Егорушка.

Никогда не слышавший раньше имени мудрого шутника. Егорушка все еще не может разобраться, кто же такой Насреддин. Впрочем, даже я, казах, не сразу понял, в чем тут дело. Вначале я предполагал, что Самед вспоминает каждый раз изречения муллы, взятые из распространенных в народе анекдотов о нем, которые и мне приходилось слышать. Но со временем я убедился, что ошибся: Самед ничего не цитировал, он творил собственного Ходжу Насреддина, по-новому освещая его образ, созданный отцами и дедами. Так, вероятно, и рождался в веках устами смелых передовых людей Насреддин — жизнелюбивый борец за правду, ненавидящий всяческих деспотов, простовато-хитрый и веселый философ, помогающий людям сохранять бодрость и уверенность в себе в каждом тяжелом деле. Теперь наш Самед призвал Ходжу Насреддина в армию, и тот честно служит народу, помогая нам в тяжелом солдатском труде.

— Э-э, мулла Насреддин такой, брат, вояка — всю жизнь воевал один против тысяч! — ответил Егорушке Самед. — Никого не боялся.

— Вон как! — почтительно сказал тот. — Небось Героя получил? Герою чего ж бояться, на то он и герой...

— А ты не герой? — поддразнил Самед.

— Какой я герой? — отмахнулся Егор. — Я разве хвалюсь? Я и жены-то боюсь. Как она осерчает, я вон из избы да в лес...

— А в лесу медведь! — усмехнулся Володя.

— Медведь не беда. Я трех заколол да пяток застрелил.

— Один ходил на медведя? — вмешался Петя.

— Что ж, я бабу с собой поведу на медведя, что ли! Ветчина из него хороша, — вдруг заключил Егор.

— Вот бы нам!

— Товарищ Ходжа Насреддин советует не мечтать о том, чего не достанешь. На Керченском полуострове не найдешь ни кусочка медведя.

— Утром получите сухари, — сказал я. — Капитан приказал объявить, что запас позволяет выдать каждому только по триста граммов.

— А на сколько дней хватит? — спросил Петя.

Это был неосторожный вопрос. Запас продуктов для гарнизона — всегда военная тайна. Но к чему было хранить тайну от этих ребят? Это были надежные, опытные бойцы. Я не скрыл от них правды.

— Запас на два дня, — сказал я.

— Тогда, значит, надо уменьшить. Пусть будет хоть на три, — решительно заявил Петя.

— Наши фляжки дадут нам еще два дня — вот и пять, — усмехнулся Самед.

— А вода? — спросил Володя.

— Вода? «Когда нет воды, — говорил Ходжа Насреддин, — подумай о саксауле: живет в пустыне, воды никогда не видит, а терпит, растет!»

С ним согласились.

Я задаю себе вопрос: что это — желание прожить на два дня дольше или желание на два дня дольше держаться в бою? Но, в сущности, это пустой вопрос. Как говорит Шеген, «метафизика». Ведь как ни верти, получается то же: лишний день жизни — лишний день и в бою.

Утром мы определили свое положение. Оказалось, что мы занимали вершину одного из курганов, расположенных широким кругом по морскому побережью вокруг древнего Керченского городища. Если даже на каждом из них было по такому же доту, наш обладал преимуществом: он господствовал над другими со своей высокой вершины.

Ночью нам казалось, что мы ушли далеко от берега, однако с кургана мы увидели море совсем рядом — не более километра по прямой. Было видно, что от холмов до моря раньше тянулись колхозные сады. Сейчас здесь все было взрыто и выжжено. Обгорелые развалины лежали кое-где среди пустырей. На север от нас сверкало холодной плешью озеро, к востоку от нас был город Керчь. Разоренные окрестности подтверждали нам в сотый раз, что Гитлер хотел превратить всю нашу страну в пустыню.

Вокруг занятой нами высоты маршировали немецкие солдаты.

— Тут фронт, а они строевой занялись! — удивился Егор.

Мирошник, смотревший в трофейную стереотрубу, объяснил:

— Они хотят показать, что не боятся нас... Видно, поняли, что за штука наши ночные грозные «батальоны».

— Вот хамы! — воскликнул Петя и прильнул к своему пулемету.

Высота обнесена двойным рядом окопов, задачей которых было ее защищать. Теперь они же окружили ее кольцом осады. Немцы маршировали к этим окопам.

Мы не привыкли видеть врага так близко и не стрелять в него. Каждый ждал команды «огонь», и каждый изготовился к стрельбе, заняв амбразуры. Но капитан спокойно подал другую команду:

— Отставить! Они хотят вызвать огонь, а мы помолчим, пока можно молчать. Понятно?

— Так точно, понятно!

Капитан продолжал наблюдение. Он покачал головой, винт перископа в руке его начал крутиться более нервно.

— Что за черт? Что за черт? — бормотал он, перенося обзор на новую точку. И снова: — Что за дьявол такой?

— Товарищ капитан, что случилось? — осмелился я обратиться к нему.

— Гляди на вершины курганов, — сказал он.

Я стал наблюдать.

Над каждой высотой, так же как и над нашей, развевались наши родные красные знамена. Значит, фашистская суматоха была не пустой; значит, за собственным криком и выстрелами мы не слышали, как наши товарищи с других катеров атаковали другие курганы...

— Андрей Денисович, наши повсюду. Ура! — воскликнул я. — Наши! По всем курганам...

— Ура! — подхватили ребята, бросаясь к боевым амбразурам, чтобы убедиться своими глазами.

Капитан продолжал крутить свой винт. Нервные сухощавые пальцы двигались нетерпеливо.

— Ерунда, — наконец говорит он, — фальшивка! Если бы столько точек было занято нашими, немцы не лезли бы так на рожон. Уж мы бы им дали страху!

— Вы думаете, они подняли сами красные флаги? Зачем? — удивлен я его утверждением.

— Может быть, ждут десанта и хотят, чтобы наши не разобрались, где мы находимся... Думают перепутать карты.

— Ходжа Насреддин умел из любой карты сделать туза козырей, — несмело бормочет Самед.

Он не решается рассказывать о Ходже капитану, но капитан уже давно знаком с Ходжой Насреддином. Он относится с явной симпатией к этому многоопытному товарищу и готов зачислить его в свою роту, приняв на вооружение весь арсенал его боевой мудрости.

— Попробуем и мы поучиться у Ходжи Насреддина, — в тон Самеду говорит капитан. — Прежде всего — наблюдение. Возьмем одну из высоток под крепкий надзор. Идите, товарищ Самед. Садитесь сюда и смотрите не отрываясь.

Самед занимает наблюдательный пункт.

Впрочем, мы все наблюдаем всё, что творится вокруг. Наблюдение сейчас единственное наше занятие.

Вот оживление среди немцев. Забегали. Иные уставились на горизонт. Самолет! Наши! Весь полуостров вздрогнул от грохота. Летит разведчик. Как хлопья ваты, вокруг возникают белые дымки от рвущихся зенитных



снарядов. Поблескивают искры. Но самолет маневрирует, мигом теряет высоту, пикирует над курганами и, уже не поднимаясь вверх, прижимаясь к земле, уходит к морю.

— Сорок три двенадцать! — восторженно выкрикнул Гришин, который успел разглядеть номер разведчика.

Он воскликнул это так, словно встретил знакомого.

И опять все почувствовали, что мы не на заброшенном островке, а в непобедимом строю Красной Армии.

Снова пронесся вихрем разведчик и снова исчез. Мы будто слышим окрик пилота: «Где вы, товарищи?»

— Надо выложить на самой высоте какой-нибудь отличительный знак, до которого не додуматься немцам, — приказывает Мирошник.

Володя вышел из дота, ползет по вершине, поросшей бурьяном, и из бинтов выкладывает номер нашей дивизии, который никак не смогут выложить немцы...

Володя вернулся благополучно, не замеченный немцами. Разведчик опять появляется на большой высоте, среди зенитных разрывов делает круг над районом курганов и, чуть заметно качнув крылом, уходит к востоку.

— Сказал: «Вижу вас!»

— Сказал: «С добрым утром!» — переводят ребята сигнал разведчика.

Он, конечно, сказал и то и другое. Но он сказал еще много больше, чем эти приветствия, сказал такое, чего не вложишь в слова. Чтобы понять его, надо было сидеть на этом кургане в окружении тысяч врагов.

Около полудня к нашей высоте по направлению из города вышел фашистский танк, на котором был белый флажок «добрых намерений».

О «добрых намерениях» фашистов мы слышали много во время войны и отлично знали их характер.

— Парламентер... Придется принять, — сказал капитан. — Гришин, приготовься.

Вася поправил воротник, подтянулся, надел Володину пилотку, единственную из оставшихся у нас, и погляделся в карманное зеркальце.

— Неприлично! — комически сказал он, взглянув на свою уже начинавшую обрастать физиономию.

— Надо было вчера побриться! — заметил Володя.

Вместе с капитаном они спустились в окоп метров на пять ниже нашего дота.

— Не убьют они наших? — опасливо задал вопрос Петя.

— С белым флагом? — воскликнул Самед.

— Ведь фашисты! Что им белый флаг?

— Приготовь на случай гранаты, — сказал я.

— А я возьму под прицел этого самого «парламентера», — ответил Володя.

Люк танка открылся, и показалась голова офицера. Она живо напомнила мне «очковую змею», которая ужалила меня в цехе ростовского завода. Змея даже слегка улыбалась и начала говорить таким тоном, как будто желает нам доброго утра.

— Он спрашивает, не хотим ли мы сами вступить в переговоры с немецким командованием, — переводит Вася.

— Скажите ему, товарищ сержант, — говорит капитан внятно, чтобы нам были слышны его слова. — Скажите, что мы не уполномочены нашим правительством вести мирные переговоры с фашистской Германией.

Немецкий офицер любезно улыбается и делает вид, что аплодирует.

— Браво, браво! — воскликнул он. Он говорит что-то длинно и витиевато.

Но Гришин перевел очень коротко:

— Сдаться предлагает, собака. Говорит, все равно мы в плену.

— А что он сказал про Берлин?

— Обещает отправить на самолете в Берлин.

— Передайте, что мы сами туда придем очень скоро. Пусть подождут.

Вася с особенной гордостью твердо произносит по-немецки слова капитана. Лицо офицера меняется. Вместо улыбки на нем выражение грусти и сожаления.

— Я предлагаю вам то, что дороже всего. Вы спасете жизнь, — говорит офицер. — Неужели она вам не дорога?

— Потому-то мы и не сдадимся, что жизнь дорога. Мы придем в Германию и объясним вам всем, что жизнь — дорогая вещь! — говорит капитан.

Офицер становится сух. Он поднес к глазам ручные часы и тоном сильной стороны заключает:

— Час времени. Ровно час вы можете думать.

— Мы пришли сюда не на час. Мы хозяева этой страны. Курган, на котором мы расположены, окончательно и навсегда освобожден от гитлеровских захватчиков. Разговор окончен, — твердо ответил Мирошник.

Офицер махнул рукой, опускаясь в люк. В то же мгновение по нижнему окопу, где стоял капитан, ударила очередь из немецкого автомата, и капитан, покачнувшись, упал.

— Огонь! — крикнул я.

Петя бросил связку гранат. Володя и я ударили из автоматов, но люк

захлопнулся.

— Уничтожить танк! — скомандовал я, не обратясь ни к кому, но с этим возгласом понял сам, что я уже принял командование.

Все разом кинулись по траншее на мой приказ.

— Отставить! Куда же вы все? — пришлось крикнуть мне.

— Я! — выкрикнул Петя уже из траншеи верхнего яруса.

— Иди!

Петя рванулся и одним прыжком оказался в заросшем травой старинном рву, какими окружены все курганы. Он упал рядом с танком, который уже завел мотор. Петя был теперь вне обстрела его пулемета, но укрыться от осколков своей же гранаты ему было негде. Однако, не думая об этом, он бросил связку гранат, откинулся навзничь. Танк от взрыва заерзал на месте... Ушаков подскочил и стал кулаком колотить по стальной стенке.

— Выходи, гад фашистский!.. Уж ты все равно в Берлин не вернешься!

— Петька, ложись! — крикнул я, увидев сверху, что гитлеровец замахнулся через люк гранатой.

Петя упал ничком и, как мне показалось, зарыдал от злобы. Володя успел застрелить солдата с гранатой, и она разорвалась по ту сторону танка.

Я сбежал вниз по траншее. Капитан лежал, раненный в грудь и в плечо, отрывисто и хрипло дышал. Я склонился к нему.

— Капитан! Андрей Денисович! — крикнул я.

Он взглянул на меня строгим взглядом больших черных глаз, веки его опустились и замерли. Он перестал дышать. Мы с Егором снесли его наверх.

— Идут! — сказал мне Самед и кивнул вперед.

Я прильнул глазом к смотровой щели.

Поливая огнем курган со всех сторон, двигались на нас фашистские автоматчики.

Они бегут на нас. Покосить бы всех к черту, но нам нельзя выдавать свои силы. К тому же Пете пока не подняться: он может вскочить лишь тогда, когда атака будет отбита, когда они побегут.

Я приказал сосредоточить прицел трех ручных пулеметов, но не стрелять, подпустить ближе.

— С запада группа атакующих автоматчиков!

— С севера!

— С востока! — все время доносят мне на командный пункт дота.

— Вижу. Держись!

Самед и Володя взяли прицел на тридцать метров впереди танка. Сам я тоже впился в пулемет и жду.

— С юга!

— Вижу. Стой на месте!

Боже мой! Да кто же ты сам? Да хватит ли у тебя ума и выдержки, чтобы не погубить даром жизни этих отважных людей, чтобы не отдать врагу этот кусочек освобожденной родины? Капитан говорил, что мы навеки освободили этот курган от фашистов. Слово его должно быть тверже, чем сталь. Он умел держать слово.

— Огонь!

Мы плеснули огнем им в морды. Падают, черт их возьми. Рвутся вперед.

— Огонь! — командую без нужды, чтобы придать бойцам духу. — По фашистским гадам точнее прице-ел! Дае-ешь!

В уставе такой команды нет, но она помогает.

— Ура-а! — слышу я с левого фланга, где автоматчики дрогнули и побежали.

— Ура-а! — подхватили мы все.

Пользуясь смятением и бегством фашистов, Петя швырнул им в спину последнюю из своих гранат и успел проскочить из рва в траншею.

Оставив с каждой стороны по одному человеку у пулеметов для наблюдения, я созвал второй керченский «военный совет».

Боеприпасов к автоматам было у нас не в избытке. Трофейных тоже не так уж много.

— Из автоматов стрелять только одиночным огнем, — предлагает Володя.

— Из пулеметов тоже бить только в упор, — говорит Самед.

— С севера можно подпускать на гранатный бросок. Там траншея удобная для гранат. Пулемету на северном склоне оставить одну ленту. Я засяду там с гранатами. Милое дело! — угрюмо шутит Петя.

Это и были основные пункты решения «совета».

Невеликий наш «фронт» пришлось разделить на западное, северное, южное и восточное направления. На каждом направлении было от трех до пяти бойцов. Кроме того, мы использовали немецкий телефон, связали все точки с командным пунктом.

Нажим фашистов снова стал нарастать.

— «Пока не потеешь, это еще не работа!» — сказал мулла Насреддин, — бодрился Самед.

С севера немцы лезли уже на курган, а Петя с двумя бойцами

поджидал их, разложив гранаты, когда воздух вдруг загудел от тяжелого гула наших бомбардировщиков, которые показались вдали над морем.

Наперерез им стаями поднялись легкие немецкие машины, но когда наши бомбовозы приблизились, стало видно, что они идут под охраной множества истребителей. Немцы не решились принять с нами бой, повернули на запад и скрылись.

— Ага! Помнишь, Костя, как в сорок первом они на нас лезли? Теперь небось приутихли! — радостно крикнул Володя, к которому я спустился в бетонированное пулеметное «гнездышко», как ласково называл он свою огневую точку.

Сердце радостно билось при взгляде на то, как авиабомбы крушили немецкие окопы вокруг нашего дота. Еще, еще эскадрилья! Ищет врага. Нам с кургана Сиднее, где нужно бомбить, — за утро мы высмотрели, где можно предполагать штаб, где минометную батарею. На одном из соседних курганов явно был дот, подобный тому, какой был и в наших руках.

— Володя, трассирующими! Покажи направление на тот курган с дотом! — крикнул я.

Володя сменил ленту и дал длинную очередь красных пуль. Самолеты не видели их.

— Еще дай, длиннее!

Огненный ручей заструился по воздуху.

— Ура! Звено бомбардировщиков отделилось, и раз за разом на указанном нами кургане ударили мощные взрывы.

— Давай-ка на штаб, в тот садочек у школы! — поощрил я Володю.

Он пустил туда ракету.

Удары самолетов, еще и еще. Загорелся дом. Мы видим, как разбегаются фашистские офицеры.

Перед нами все словно вымерло. Гитлеровцы попрятались в щели.

Так же мы указали и минометную батарею, на которую тотчас обрушили несколько бомб. Мне казалось, что я разговариваю с Шегеном, он слушается моих советов и делает то, что я считаю нужным.

«Шеген, ты слышишь меня?»

Он слышит. Он разбил уже три хорошо замаскированных блиндажа, которые с воздуха нельзя было разглядеть. Под ударами авиабомб из земли вырывались бревна накатов, доски и вместе с землей поднимались к небу.

Как бы мне хотелось еще, чтобы бомбы упали поближе, чтобы они dokonчили этот подбитый танк с очковой змеей внутри, чтобы они попали вот в эти ближние окопчики, полные немцев, которые снова пойдут в атаку, как только скроются самолеты, и уж теперь постараются нам отомстить за

все.

Шегену будет что рассказать Акботе о нашем совместном сражении.

— Вот это да-а! Вот это да-а! — восклицает Егор, восхищаясь работой авиации.

«Прощай, Шеген! Ты слышишь меня?»

Самолеты ушли, оставив в нас уверенность в том, что мы не одни, что мы не просто какое-нибудь окруженное подразделение, а гарнизон советского укрепления в тылу у гитлеровцев.

До вечера немцы несколько раз поднимались атаковать нас в лоб, но откатывались под косящим огнем пулеметов.

В один из таких немецких наскоков, уже перед самым закатом, опять появилось звено «ястребков» и на бреющем полете стало косить из пулеметов атакующих нас фашистов. Друзья как бы говорили нам, чтобы мы держались, что мы здесь нужны. Это прибавило сил, хотя все мы устали, были голодны и смертельно хотели пить.

Солнце село за черную тучу, по морю пошли, вздымаясь, гривастые волны.

— Эх, будет штормяга! — шепнул мне Володя. — В такую погоду никак не пройти катерам. Нынче ночью десанта не будет.

Перед сумерками рухнул на нас артиллерийский удар. Тяжелые снаряды шли один за другим, падая вокруг бетонного колпака, под которым мы приютились. Все кругом было покрыто осколками и землей, словно с неба лился железный и каменный ливень с песком. В этот момент можно было не опасаться атаки пехоты.

— Ребята, пойдем отдохнем в нижнем ярусе. Не так будет грохать. Тут ведь оглохнешь, — позвал я Володю и Самеда, которые не отходили от амбразур.

— Погоди, товарищ старший сержант, не пойду, — отмахнулся дисциплинированный и точный Самед.

— Почему не пойдешь? — удивился я.

— За танком смотрю. Два раза люк поднимался. Видно, бояться вылезти под снаряды. Как осмелятся, так я их гранатой.

— Сколько же ты будешь ждать?

— Ходжа Насреддин сварил однажды для друга суп из курицы, потом самому на яйцах сидеть пришлось, пока не вывел цыплят. Я тоже так буду сидеть...

По высоте били подряд два часа. Но этот бетон крепко врос в землю. Они не смогли его одолеть и ночью опять полезли в атаку.

— Не жалейте ракет, ребята, — вон их сколько: меньше истратим

патронов, — посоветовал я.

Вдруг раздались один за другим два взрыва.

— Цыпленки, цыпленки! — крикнул Самед. — Он думал — темно, я не вижу! А я вижу! Все темно да темно. Я стал как кошка. Он люк открыл, лезет наружу. Я молчу. Другой лезет — молчу. Третий лезет... Как дам! Да еще раз как дам! Все трое лежат! — торжествующе рассказывал Самед о своей охоте.

Я молча пожал его тонкую длинную руку. Мы выпустили ракету. Она осветила около танка три фашистских трупа.

Впрочем, вокруг высоты их было теперь уже не десятки, а сотни. Но немцы всерьез решили разделаться с нами. В темноте они лезли на нас. Пулеметы раскалились от непрерывного огня.

— Лезут с запада!

— Лезут с юга! — сыпались донесения.

— Стой на месте, — отвечал я каждому.

— Не хватает патронов, давай!

— Витя, тащи, — посылал я связного, молоденького добровольца из отделения Горина.

Витя неустанно сновал по ходам сообщения, поднося боеприпасы.

— Наседают в лоб, больше сотни! — сообщил по телефону Володя.

— Ленты есть?

— Есть.

— Ну, держись...

## IX

Закончившийся день значительно ухудшил наше положение. Во-первых, у нас выбыл единственный офицер, капитан Мирошник, и хотя у нас была группа активных и бывалых бойцов, но ни я, ни кто другой из товарищей не могли его заменить. Во-вторых, нас осталось всего девять человек. В-третьих, во время немецкой атаки погиб командир второго отделения Федя Горин. Петя Ушаков теперь командует вместо него отделением, в котором осталось всего четверо вместе с ним, в моем отделении тоже четверо, пятый я сам.

Самое тяжелое заключается в том, что на каждом направлении остается всего по два бойца.

— Одно направление нужно нам сократить, — предлагает Петя, — надо создать оборону по траншеям.

План укрепления на кургане давно подсказывал эту мысль, но раньше у нас не было времени на перегруппировку. Траншеи были построены так, что контролировали все четыре направления, взаимно дополняя друг друга.

Я принял его предложение.

Подсчет боеприпасов оказался еще менее утешителен. Масса ракет, оставленных нам бывшими хозяевами, не заменяет ни пулеметных, ни автоматных патронов. Утешает лишь мысль о том, что немцы во второй раз не пойдут уже на такие жертвы. Решаем, что боеприпасов нам хватит на два дня обороны.

О гранатах никто ни слова. В молчаливом согласии мы откладываем их на конец, когда нам придется защищать свои последние минуты в окопе на самой вершине.

Две немецкие снайперские винтовки распределяем по двум отделениям. Распределяем всерьез, как будто речь идет о приданном нам артиллерийском дивизионе.

Вася взглянул на часы, разбудил уснувшего на нарах Самеда. Они идут сменять охранение.

— Давно не спал на хорошем тюфяке. Ходжа Насреддин говорит: «Хорошо поспал, хорошо поработаешь».

— Куда же он пропал? — сокрушенно вздыхает Петя.

— Боюсь, что убит, — отвечаю я.

Мы говорим о Егорушке, который уже два часа назад пошел за водой, да так и не возвратился.



После дня такого горячего боя мы выпили всю воду, найденную в бидоне. Досталось не больше чем по полстакана на человека. Самед распределял, а Петя следил, чтобы всем пришлось поровну. Егор решил спуститься к воде — и вот его нет.

— А он точно знал, где вода?

— Совершенно точно.

Днем, наблюдая окрестности через стереотрубу, мы как на ладони увидели ручеек, протекавший по дну оврага вблизи деревни. Егор утверждал, что когда мы вчера пробивались к кургану, он чуть не свалился в него. Кроме того, ручей значился и на нашей карте. Если же оказалось бы, что немцы охраняют источник, то Егор должен был отойти, не вступая в драку.

Насколько мы знали Егора, понятия о храбрости были у него не мальчишеские, а на местности он ориентировался лучше нас всех. В нашем положении было легко понять, как тяжел будет завтрашний день, если мы останемся без воды. А ночь была единственным временем для ее поисков.

По-то-му что без воды  
И ни туды, и ни сюды... —

запел Егорушка, поднимаясь с места.

И вот его нет. Потерять одного из оставшихся девяти — это было сейчас тяжелее всех прежних потерь.

— Как ты думаешь, Костя, — вдруг неожиданно спрашивает Петя, — как ты думаешь, может все-таки случиться, что мы первыми войдем на улицы Берлина?

— Отчего же, конечно...

— Нет, серьезно? Когда мы отступали, то были всегда в арьергарде... Верно?

— Ну?

— А как перешли в наступление, мы всегда в авангарде.

— И что же?

— Значит, характер у нашей роты такой, что она всегда ближе других к врагу.

— Ну, правильно.

— Так, может быть, нам и удастся первыми водрузить над Берлином советское знамя... Знаешь, я тут нашел офицерскую записную книжку с планом Берлина.

Можно по нему изучать все улицы, чтобы короче прийти в центр. Вот было бы здорово донести это самое знамя, которое мы несем от Ростова! Изрешетили его сегодня, не очень оно красиво будет...

— Не беда. Раны на знамени — бойцам не позор.

— А все-таки могут спросить: что за знамя? Тебе придется докладывать маршалу, — трусишь?

— Чего же мне трусить? Так и скажу: «Товарищ Маршал Советского Союза, знамя взвода разведки энского полка энской стрелковой десантной дивизии водрузил Герой Советского Союза Петр Ушаков».

Петя присвистнул.

— Ого, куда залетел!

Может быть, во всей этой болтовне было немало ребяческого, но так рождаются в самые трудные минуты солдатские мечты.

Возвратясь из охранения, Володя взглянул на нас и спросил:

— Чему вы так рады? Вернулся Егор?

— Мы взяли Берлин! Капут фашизму! — с азартом выпалил Петя.

— Фашизму капут? Немецкому — да, капут, — серьезно сказал Василий. — Но фашизм происходит от слова «фашина» — связь. Чья связь? Разумеется, капиталистов, банкиров. А поэтому, пока жив капитал, он будет стремиться к фашизму.

— Значит, что же, товарищ профессор, и после Берлина прикажешь держать автомат наготове?

— Пожалуй, не всем придется сдавать автоматы.

— А я хотел сразу в поле! — воскликнул Петя. — Черт знает, ты всегда настроение испортишь.

— Я и сам до военного ремесла не охотник. Учиться надо, а время уходит. Что же, я в сорок лет, что ли, инженером стану? Ничего не попишешь! — Вася развел руками.

Снаружи донеслись в блиндаж звуки автоматных и пулеметных очередей.

— Вот сволочи! Снова идут!

Мы все вскочили и бросились по местам.

Стреляли, оказалось, вовсе не в нас. Со стороны деревни, продвигаясь вперед, ближе и ближе к кургану, падали осветительные ракеты, а в центре огней по равнине бежал с бидоном Егор. Было светло как днем, и мы видели, как под ярко освещенной фигурой Егора металась его тень. Теперь, когда он был пойман светом, ему бесполезно было залегать, и он торопился зигзагами, кидаясь то вправо, то влево. Рои светящихся пуль летели совсем рядом с ним. Петя и Вася открыли из пулеметов огонь, прикрывая

отступление Егорушки. Но им было не видно мишеней. Егору оставалось всего два десятка шагов до траншеи. Он упал, и бидон отлетел в сторону. «Если бы он просто упал, он не выронил бы бидона. Значит, он ранен», — подумал я. Однако Егор вскочил, подхватил свою ношу и уже неверным шагом упрямо двинулся к нам. Тень его раскачивалась во все стороны. Достигнув траншеи, он бросил туда бидон и свалился сам, но сверху мы видели, что одна его нога недвижно торчит над траншеей. Убит...

Огни угасли, но мне казалось, что и во мраке я вижу эту длинную и неподвижную ногу.

— Осталось восемь бойцов, — вздохнул Вася.

Да, нас осталось всего только восемь. На переключку не требуется много времени.

С бидоном вошел Володя. Оцинкованная посуда была прострелена в трех местах, и воды в ней почти не осталось... Это была дорогая вода. Ради нее погиб бесстрашный товарищ.

Мы не слышали последних слов нашего Егорушки. Он не высказал нам свою последнюю и заветную мысль, но она нам известна: израненный, он, вместо того чтобы прыгнуть в укрытие, прежде всего забросил туда свою добычу, чтобы прибавить товарищам сил для борьбы. Мы знаем все его мысли и чувства — это наши чувства и мысли. Мы знаем его мечту — это наша мечта.

— Я говорил, заштормит сегодня. Не меньше чем девять баллов. Ревет! — сказал Володя, ставя бидон.

Выстрелов не было слышно, и в тишине даже здесь, на таком расстоянии, мы слышали, как бушует море.

Помолчали. Поглядели на Володю, ожидая, что он скажет что-нибудь про Егора. Но он закончил:

— Катерам не пройти.

Было ясно, что ночь не сулит ничего доброго.

Петя спокойно пересчитал гильзы, расстрелянные им и Васей для прикрытия Егора.

— Минус пятьдесят семь, — сказал он.

На одного бойца сократился наш личный состав. На значительную долю сократился запас огневых средств.

Володя, заметив, что все молчат, внезапно добавил:

— Я уж знаю Черное море. К рассвету утихнет, увидите сами.

Его ласковые глаза блестят даже при блеклом свете слабенького фонаря. Он хочет, чтобы мы непременно поверили в то, что мощный десант успеет прийти нам на помощь.

С простреленным и разодранным нашим знаменем входит Самед.

— Прямо в древко попал окаянный какой-то! Надо покрепче связать...

Рассвет всколыхнул высоту тяжелым ударом. В пятистах метрах против нас выстроились пять самоходных пушек — «фердинандов» — и прямой наводкой стали громить наш дот. Немцы могли убедиться, что недаром потратили рабочее время: укрепление могло выносить удары бронебойных снарядов. Немцы били «в лоб», стараясь попасть в амбразуру. Удары отдавались в этой железобетонной коробке так, будто ее старались разрубить топором.

— Да... — многозначительно говорит Вася, — решили расковырять.

Нам приходилось видеть, как артиллерия «раздевает» железобетонные доты, потом разбивает.

Мы знали, что у нас над головой два-три ряда рельсов, переложенных бетоном и сверху еще накрытых надежным бетонным же колпаком. Немцам легче всего, конечно, начать ковырять с амбразуры, но это занятие не короткое и дорогое. Однако эта долбежка подавляюще действует на нервы. От первых же ударов этого тысячепудового молота лица у всех осунулись и посерели.

На помощь «фердинандам» вылезли три танка — «тигра» — и тоже вступили в игру.

Черт знает, какое гнусное настроение, когда ты не можешь ответить врагу! Бить по танкам из пулеметов смешно.

Мощная методическая долбежка начинает оказывать действие. То взметнется пыль перед самой амбразурой, то сбоку от нее отщепится осколок бетона.

Вершину кургана начало окутывать облако. Оно росло и темнело.

— Костя, Костя! — сообщает Василий, крича прямо в ухо. — Пулеметное гнездо на северном направлении снесено. Вместе с Витей!

Еще нет бойца.

— Наблюдаю море. Шторм спал, а на горизонте нет никого, — сообщает Володя.

— Напрасно ждешь. Не днем же они полезут. До ночи можно гуда не глядеть... Если продержимся...

Снаряд грянул где-то внизу, под стеной дота. Гора земли взлетела в воздух перед амбразурой и завалила обзор. От удара по потолку, как по яичной скорлупе, прошла трещина.

Пора выбираться. Забрав пулемет и бинокли, мы покинули центр и ушли в боковую точку.

Орудия стихли. Немцы хотят проверить, что с нами. Рота автоматчиков

появляется из траншей и идет врассыпную на нас.

— Пулеметы! — командую я.

— На этом деле мы сберегли боеприпасы, — расчетливо замечает Петя. — Теперь имеем право немного потратить... Ого! Смотри-ка, Костя, какой стал обзор из гнезда! Они срезали выступ кургана и открыли широкий простор...

Я наблюдаю атакующих фашистов.

— Огонь!

Резанули в три пулемета.

Оказывается, это была провокация: они хотели лишь вызвать наш огонь. Отступают, оставив семь трупов... А нас всего семеро живых.

«Фердинанды» нагло придвинулись ближе. Сейчас начнут громить боковые пулеметные точки. Тогда дело у нас пойдет скорее.

— Костя, я вижу двух наводчиков у «Фердинандов», дай-ка мне снайперскую сюда, — просит Петя.

Он с биноклем приник к амбразуре, высматривая еще мишень.

Я подаю ему снайперскую винтовку, но Петя вдруг осел всем телом.

— Петя! — воскликнул Володя, поддерживая его.

Голова Ушакова беспомощно откинулась. Прямо посередине лба была черная дырка. Кровь из нее не сочилась.

Ударил залп «фердинандов», еще, еще и еще.

— Амбразуру завалило землей, — сообщил пулеметчик с западной пулеметной точки.

— Вынести пулемет в траншею!

Нас шесть человек. Осталось единственное надежное южное пулеметное гнездо.

— Пожалуй, они не будут больше бить по центральному доту. А в развалинах можно найти укрытие для пулеметного огня, — осеняет Володю мысль. — Я схожу?

— Посмотри, — отвечаю я.

Теперь мы не видим «фердинандов». Наш обзор очень узок. Пушки опять умолкли. Может быть, меняют позицию.

— С запада лезут! — слышится голос Самеда.

— Ребята! Десант! Товарищи! На море бой! — кричит сверху Володя.

— Самед, держись!

Некогда даже взглянуть на море. Самед, укрываясь в траншее, соорудил себе новое пулеметное гнездо в соседней свежей воронке.

— Держаться, Самед! Десант! — крикнул я, подбираясь к нему.

— Десант! Десант! — кричали мы друг другу, не отрываясь от

пулеметов.

— «Фердинанды» поехали к морю! — кричит Володя со своего импровизированного наблюдательного пункта, где, кажется, чувствует себя неплохо.

Сквозь грохот наших пулеметов и треск автоматов снизу мы скорее угадываем, чем слышим, его слова.

— За Родину! Бей гадов-фашистов! — кричим мы.

Наша высота со стороны, вероятно, похожа на вулкан, который уже перестал выбрасывать лаву, но еще продолжает дымиться. Пользуясь тем, что мы плохо видим сквозь дым, окутавший высоту, автоматчики лезли упорно, но их огонь в дыму тоже потерял прицельность.

Самед успел уложить одного из них по башке прикладом, когда тот уже добрался до его воронки, и тут же упал сам на дно воронки.

— Гранаты!

Гранаты — это было последнее средство, к которому мы решили прибегнуть в окопе, на вершине кургана.

Мы швырнули подряд с десятков гранат. Вася прильнул к пулемету Самеда.

Я кинулся к другу. Самед лежал, улыбаясь.

— Куда, Самед?

— Наверное, туда, куда отправились все, — с усмешкой ответил он.

— Куда ранен, спрашиваю?

— Не знаю... Жалко, в Берлин не попал... Ходжа Насреддин... — Он умолк.

Нас осталось лишь пятеро.

Немцы ответили нам на гранаты бросками гранат.

Гранат у нас было довольно, но немцев больше, чем нас. Мы растянулись вдоль траншей и старались не дать им опомниться. Бой шел на покато откосе кургана, выгодном для нас и невыгодном для врага.

Дым начал рассеиваться.

— Костя, я дам по ним пулеметом? — спросил Василий.

— Ты видишь их?

— Вижу.

— Давай.

Пулемет, который немцы, очевидно, считали умолкшим из-за отсутствия боеприпасов, ударил им в лоб.

— За Петьку! — крикнул Василий. — Бегут! Побежали! За Самеда еще вам!

Он выпустил длинную очередь по бегущим.

— Откатились, собаки! Новую ленту давайте. Мне встать нельзя, под прицелом держат.

Я бросил ему новую ленту.

В это мгновение снизу, издалека, от самого моря, к нам донеслось «ура».

Первое «ура» нового десанта!

Если бы у пулеметов была душа, я вытащил бы ее и встряхнул так, что наш пулемет научился бы выпускать в минуту по тысяче пуль, чтобы бить немцев с тылу в поддержку десанту.

И вдруг я почувствовал то, чего не заметил в пылу напряжения: правая нога моя отяжелела, и, пошевелив пальцами ее, я почувствовал острую боль. Я понял, что ранен осколком гранаты.

— Володя, ракету! Самед, знамя! — командовал я и, поняв, что команду убитому солдату, поправился: — Коля, знамя!

Боец отделения Горина, Коля Любимов, бросился в кучу бетонных осколков искать среди них наше сбитое снарядами знамя. Леня Штанько, второй оставшийся в живых из их отделения, легко раненный в голову, крался наверх к Володе со снайперской винтовкой.

Я знал, что выход из строя командира может встревожить товарищей. Потому я старался выжать из себя самую громовую команду, на какую только были способны мои легкие и горло.

— Сосредоточиться всем на вершине! Боеприпасы собрать все туда же!

— Костя, я нашел здесь укрытие для пулемета! Взбирайся сюда! — возбужденно крикнул из разбитого дота Володя.

Он не знал, что я ранен.

Бой перекинулся к берегу. Нас оставили в покое: на нас не падали больше снаряды, автоматчики тоже отхлынули на прежние позиции за окопами. На склоне осталось на этот раз около трех десятков фашистов, убитых нашими гранатами и пулеметом.

Вася выбрался из воронки Самеда и втащил пулемет в развороченный остов бетонного дота. Володя пристраивал второй пулемет в образовавшейся при разрушении дота узкой трещине бетонной стены.

Я пополз к ним. Отсюда, в щель между развороченными глыбами бетона, виден был весь берег моря. Наши бьют немцев из минометов и пулеметов. Ветер рассеял над нами дым, и мы видим теперь продвижение нашего нового десанта.

Я пристроился рядом с Володей и взял бинокль.

Немцы, видимо, считают, что мы уже совсем бессильны. Я вижу

отсюда, как они группируются для удара во фланг десанта.

Коля Любимов выскочил из обломков бетона со знаменем.

— Нашел! Вот оно! — радостно выкрикнул он, тыча древко в узкую щель между камнями.

Бедное наше знамя! Как оно было истерзано!

В это время с торжествующим гулом, как вчера, к полю боя пришли советские самолеты. Зенитки фашистов ударили из-за деревни. Белые облачка разрывов закурчавились в небе.

Теперь перед нами активная боевая задача. Не для того мы отдали столько бойцов, чтобы нас спасали, как ребятишек, попавших в беду. Мы солдаты и знаем, как делается война.

— Ракеты! — командуя я Коле.

Он мгновенно принес из траншеи мешок ракет.

— Ребята! Я буду указывать самолетам цель, фашисты сейчас опять полезут. Приготовьте гранаты!

Теперь мы лежали все рядом в бесформенном бетонном укрытии. Нас пятеро. Два пулеметчика смотрят из щелей по склонам холма, чтобы не подпустить к нам автоматчиков. Два бойца лежат, разбирая гранаты, готовя их к бою. Я наблюдаю в бинокль.

Вот к правому флангу нашего нового десанта перебежками подбираются немецкие автоматчики.

— Ракета!

Красной полоской мелькнула она, указывая цель. Три бомбардировщика отделились от стаи стальных птиц и обрушились пикирующими клевками на кучу мышинных шинелей, сбившихся за холмом. В кучке шинелей взметнулась земля, высоко взлетело какое-то рваное тряпье. Еще удары. Еще.

Зенитки стреляют из-за деревни по самолетам. На фоне соседнего кургана мне удалось увидеть мгновенно скользнувшую вспышку. Я стал наблюдать в бинокль и разглядел сверху кучу людей в кустах. Здесь, конечно, и есть зенитная батарея. Здесь!

Ракета, как указывающий палец, ткнула зенитную батарею, скрытую между кустов и деревьев. Бомбардировщики клюнули над этим местом. Там тоже взрывы, взрывы и взрывы.

— Атака! — кричит Володя и нажимает гашетку своего пулемета.

Кинувшиеся было на нас немецкие автоматчики вынуждены снова залечь.

Я ищу новую мишень. Что еще указать самолетам?

«Фердинанды»? Танки? Вон они поползли под деревья. Взять их!



— Ракета!

Авиабомба, сброшенная с той стороны, вызывает потрясающий грохот: верно, взорвана автомашина с боеприпасами для «фердинандов».

Самолеты ушли в глубину полуострова — наверное, бомбить дорогу на подступах к берегу, чтобы не допустить сюда резервы фашистов. Немцы по побережью прижаты к земле. Другие из них смешались, бегут. Десант продвигается ближе к нам, ближе.

Наша атака отличается от немецкой стремительностью броска. Вот наши уже побежали «в штыки».

«Ура» нарастает и близится к нам. Мы видим бегущих наших бойцов, без всяких биноклей узнаем офицеров.

— Ревякин! Ревякин! — кричит Володя, указывая в сторону приближающейся советской атаки.

Немцы вскакивают и бегут мимо нашего кургана.

— Ур-ра! — кричим мы жидкими голосами в ответ.

— Пулеметы! Огонь по фашистам! — команду я, и мы начинаем огнем сверху преследовать убегающих.

Я пускаю ракеты одну за другой вверх.

— Костя, пойдем! Скорее пойдем! Наши уже в траншее... Идем же навстречу! — торопит Володя.

Я пробую встать, но больше уже не могу опереться на ногу.

— Что с тобой? Ранен?

— Ура! — Бойцы обтекают наш холм, занимают на нашем кургане траншею и с ходу открывают разящий огонь против фашистских окопов. С нашей высоты ударил по немцам огонь миномета.

Ревякин стремительно входит в остатки нашего дота и видит нас у гордых обрывков нашего знамени. Он смотрит на нас немного растерянно. Обнимается с каждым. Склонился ко мне.

— Что?

— Нога.

Ревякин еще раз всех осмотрел, взглянул на улыбающиеся, мокрые от слез, измученные, но все же радостные лица. Пересчитал нас глазами.

— Все тут?

— Все, Михаил Иванович... товарищ капитан...

— Все, — негромко повторил он и снял пилотку.

Изо дня в день плацдарм расширялся. Хозяин советской земли с каждым днем становился все тверже на эту площадку. Правда, пока еще освобожденной земли здесь было не очень много, зато с каждым днем мы все крепче и глубже врастали в нее. Теперь уже это было пространство с двумя господствующими высотами, с широким проходом к морю, и дни, когда приходилось ждать, что «подбросят» с воздуха пищу и боеприпасы, теперь миновали.

Легкие самолеты могли уже приземляться на собственной небольшой площадке аэродрома. Десант пополнялся с моря и воздуха.

В глубине кургана, который был нашим первым плацдармом, построена цепь блиндажей и укрытий — целый подземный квартал: штабы, госпиталь, электростанция, склады боепитания, даже газета.

В нашей госпитальной комнате семеро раненых. Жарко. Душный запах лекарств, тусклый свет «лилипутской» лампочки. Правда, нас развлекает здесь радио. Из редакции провели к нам наушники, и мы слушаем целыми днями Москву... Москву!

Сводки, приказы, концерты...

Я прозевал и не слышал утром по радио важного для меня известия. Говорят, что я проспал его. Теперь в сотый, может быть, раз я перечитывал его в газете.

Список двадцати человек по алфавиту начинается с Абдулаева Самеда.

Я знаю уже наизусть все от слова до слова и по порядку могу перечислить все двадцать имен, кому присвоено звание Героя Советского Союза. Но как только газета, лежащая рядом со мной, попадает мне на глаза, я еще и еще раз перечитываю все от начала до конца.

Взгляд подолгу останавливается на имени Самеда, белозубого весельчака, с которым легче воевалось, на имени капитана Мирошника. Он доверял нашей юности трудные и ответственные задания. Он не опекал нас и не страшился за нас. Он верил, что мы все осилим. Имя Пети волнует особо. Когда я сказал, что к моменту взятия Берлина он будет Героем Советского Союза, как он тогда присвистнул! А в это самое время он уже был Героем, хотя сам себя не считал достойным такого звания. Егорушка, Федя Горин...

Мои дорогие друзья Володя и Вася, конечно, тоже рядом со мной в этом списке. С Володей я даже стою на соседнем месте по порядку

алфавита.

Ревякин сказал нам, что Сережа вернулся благополучно на берег и лечится где-то в ближайшем тылу; если бы он был с нами в этом десанте, он, конечно, не меньше других заслужил бы наше высокое звание...

— Готовьтесь к отправке, — сказал мне сегодня наш доктор, майор медицинской службы.

Я просил оставить меня здесь до выздоровления. Он помрачнел.

— Не шутите такими вещами, — остановил он меня. — Я скажу вам прямо, что положение очень серьезное. Возможно, что вам придется отнять ногу. Я сам не могу решить окончательно. Вас отправят в тыл к хорошим хирургам...

Придется уехать. Как знать, удастся ли снова попасть в свою часть? Ребята меня утешают: они говорят, что Героя Советского Союза пошлют туда, куда он попросится. Вася с Володи, конечно, дойдут до Берлина. А где буду я в этот день? Неужели на костылях, без ноги?

— Я ногу отрезать не дам. Мне ноги нужны, чтобы маршировать по Берлину, — ответил я доктору.

— Там видно будет. Посмотрят, решат. Зря никто не отрежет. Если можно оставить, оставят.

— Ни за что не давай, — говорит Володя. — Ноги тогда хороши, когда в паре.

А Ревякин, который теперь командует нашей ротой, тот просто в порядке приказа мне так и сказал:

— Ты выбрось из головы ампутацию. Чепуха! На Одере нас нагонишь. Смотри, на Шпрее уже не приму тебя в роту!

Только Вася говорит со мной по-другому. Он видит фронт и в тылу, и даже после войны.

— Не спеши, поправляйся, — сказал он мне. — Поправишься — знаешь, как будешь нужен повсюду! Сколько рабочих рук и голов будет нужно! Учиться придется, конечно... Всем нужно учиться.

Вася хочет незаметно подсунуть мне утешение, если хирурги все-таки оставят меня без ноги. Он рассказал мне, как будет рада моя мать, что у нее сын — Герой, описал даже встречу с ней, а сам между тем незаметно перескочил на свою любимую тему. Усиленно посасывая сигарку и кутаясь в сизый дымок, он намекает, что я могу попасть в госпиталь снова в Караганду.

Попался и покраснел.

— А что она пишет? — спросил я.

— Кто?

— Караганда, конечно! — засмеялся я.

— Давайте, давайте скорей на носилки! — приказал врач в соседнем помещении.

Вошли санитары.

— Товарищ майор, разрешите... — слышался голос Володи.

Меня перекладывают на носилки.

— Скорей, скорей, — поторапливает нас доктор. — Санитарный самолет опустился, когда летал немецкий разведчик. Погрузит и скорей назад, на Большую землю...

Володя и Вася, столкнувшись лбами, целуют меня в обе щеки.

— Ну, лечись, поправляйся...

— Будем ждать...

— Пиши каждый день...

— Как же не писать? Где еще я найду таких друзей?

Носилки плывут под низко нависшей лампочкой, под второй, под третьей. Воздух свежее и прохладней. Как хорошо вздохнуть чистым воздухом после пропахшего лекарством склепа!

В небе гул моторов. Несколько наших «ястребков» охраняют этот клочок отвоеванной нами земли. Вышло так, как сказал тогда Мирошник: мы никуда не уйдем, этот курган навсегда освобожден от фашистских захватчиков. Фашисты убили его, но его железное слово мы сдержали несмотря ни на что.

Дрожа сверкающим телом, стоит санитарный самолет с красными крестами на крыльях. Капитан корабля, ожидая, стоит у своей машины.

Вася вытянулся перед кем-то и почтительно отдал приветствие. Я перевел глаза. Рядом с носилками вырос Шеген.

— Нарочно к тебе прилетел, мой мальчик. Самолет специально прислали за тобой по приказу генерала армии. Ничего, ничего, починят тебя. У нас хорошо умеют. Наш брат летчик, бывает, ломает и все четыре ноги. Все зачинят! — утешает Шеген, идя рядом со мной и держась рукой за носилки.

Товарищи собрались перед самолетом. В гуле мотора не слышно прощальных выкриков, и я наугад отвечаю:

— До свидания! Я быстро!

Санитары укладывают меня, пристегивают ремнями. Вот в самолет вносят еще другие и третьи носилки, четвертые и пятые, входит врач. Быстро проходит в кабину летчика женщина в белом халате. Потом я вижу дружелюбное и смеющееся лицо Шегена, он проходит в кабину летчика. Я слежу за ним взглядом...

Самолет побежал, оттолкнулся, подпрыгнул еще раз... И плавно поплыл. В полете... Покойно и хорошо.

Я невольно закрыл глаза, но что-то меня заставило снова поднять веки.

Нет, это не сон и не бред: на меня глядели влажные черные глаза, полные такой милой нежности, такой теплоты! Они глядели с такой удивительной лаской...

Только тут я понял лукавство, скользнувшее в улыбке Шегена, когда он прошел в кабину.

Я боялся, что слезы зальют мои щеки, и снова закрыл глаза, чтобы скрыть волнение. Я думаю — она могла слышать стук моего сердца даже сквозь гул мотора. Я хотел назвать ее имя, но горло мое пересохло, и голос пропал. Я шевельнул губами и вдруг в первый раз в жизни ощутил на них чудесный, такой освежающий, ни на что не похожий вкус ее поцелуя.

Она целовала мое небритое бледное лицо, лоб, волосы, никого не стесняясь. Ведь она разыскала меня, как и я ее, среди миллионов.

— Кайруш! — прошептала она.

— Бота! — ответили только немим движением мои губы.

Я снова закрыл глаза. Ее ладонь мягкой прохладой легла на них, лаская мои опущенные веки, и я боялся их снова поднять, чтобы как-нибудь не рассеялся этот теплый и радостный сон.

Самолет ли несет меня или мечта уносит на крыльях?

Она сидит возле меня, и я не хочу ни о чем говорить. Может быть, нужно что-нибудь спрашивать, отвечать... Пожалуйста, после, пожалуйста, после! Я все хочу знать о тебе, но сейчас я хочу немножечко помолчать с тобой вместе.

А потом мы сядем и все расскажем друг другу — за столько лет!

Потом мы пойдем с тобой через годы и годы по всем дорогам мира, а если надо, то по дорогам войны. Ведь мы уже шли по ним вместе, правда, не в одной роте, но не все ли равно? Так лучше. Ты не вынесла бы столько, мой маленький верблюжонок!

Мать, наверное, стала уже стара, ей давно уже хочется назваться бабушкой. Мы утешим ее...

Товарищи с завистью смотрят, как ты склонилась ко мне и положила мне на грудь свою голову. Вот и моя рука коснулась твоих волос и спины. Это легкое прикосновение кажется тебе робким... Я не робею. Я боюсь спугнуть твои ресницы, которые трепетными крылышками касаются моего небритого подбородка. Они влажны... Но я сквозь твой белый халат, напаянный для порядка, нащупал у тебя на плече совсем не солдатский погон. Офицеру, кажется, не пристало плакать...

Я даже не решаюсь полюбопытствовать, сколько звездочек у тебя на погонах. А вдруг там окажется какое-нибудь невиданное созвездие — знак твоей власти над небесными сферами.

Я не скажу тебе вслух этого — ты подумаешь, что это насмешка, а во мне нет иного чувства к тебе, кроме любви.

И этого я тебе не скажу.

Об этом надо петь песни, а я сегодня не в голосе. Человек, у которого собираются отнять одну из его немногих конечностей, не может петь хорошо.

Мне все интересно в тебе, все в тебе дорого. Но ты не писала мне ни слова о своих офицерских погонах. Если бы я смел коснуться рукой твоей груди, может быть, я нащупал бы там боевые знаки отличия. А если бы я добрался до самого сердца... Не правда ли, там все ясно, как в этом прозрачном небе, которое дрожит за окном самолета?

Нет, я не отдам мою ногу хирургам. Я хочу идти рядом с тобой твердой поступью по всякой дороге, по всем просторам.

Как сказал товарищ Ходжа Насреддин: «На земле нет края лучше того, где ты родился и вырос». Я хочу, чтобы он был еще лучше для тех, кого ты сама вскормишь грудью.

---

---

notes
-------

## Примечания

Кара-Мурт — Черноус.



Акбота — имя, составленное из двух слов: «ак» — белый и «бота» — верблюжонок.

Жаулык — головной убор.

Апа — мама, мать.

Ага — обращение к старшему.

Хурджун — ковровый перекидной мешок.

Катын — жена.

Руки вверх! (немецк.).

